

СТРАШНЫЕ



СКАЗКИ

Василий Тихов

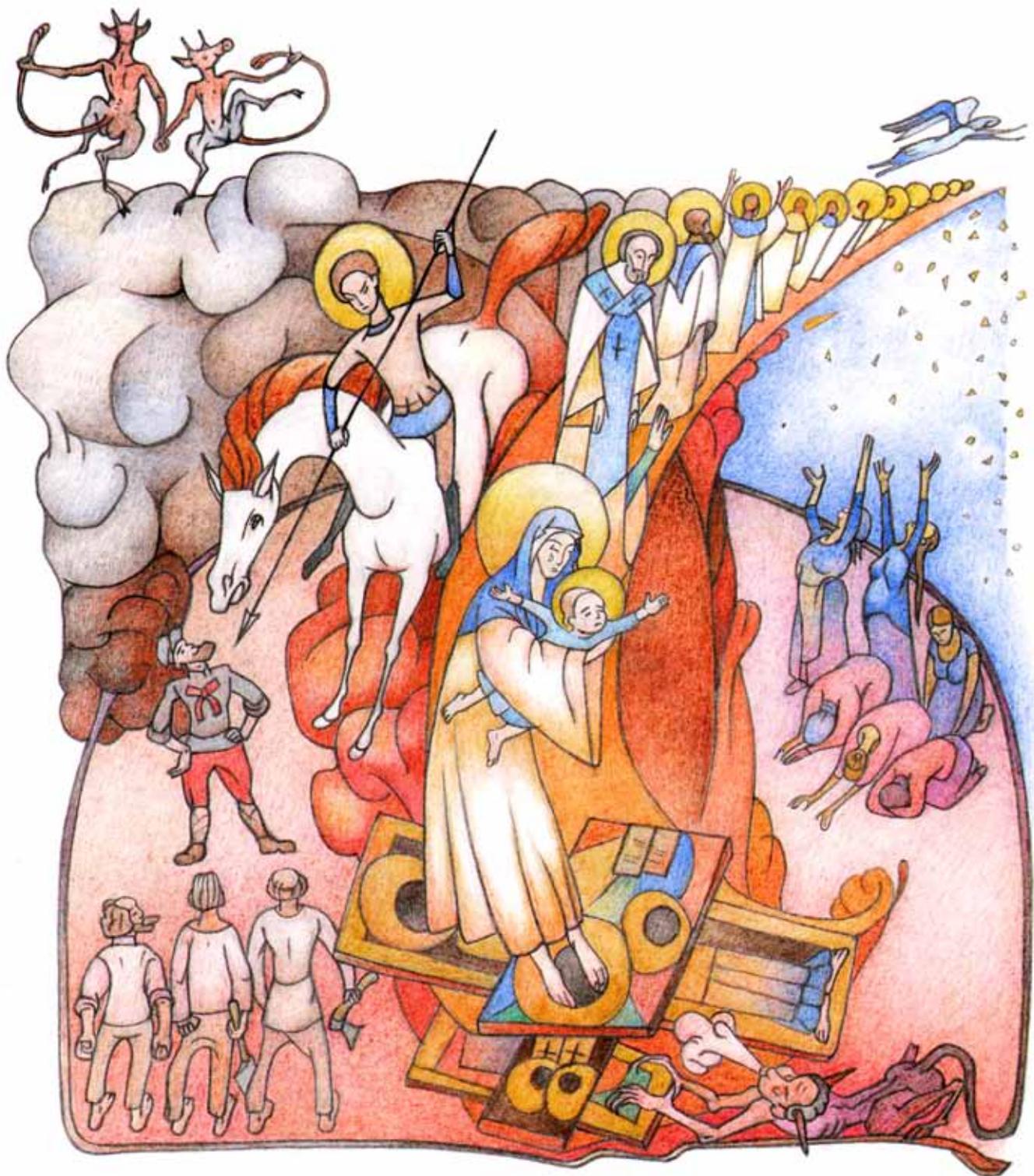
Страшные сказки,

рассказанные дедом Егором,
крестьянином бывшего Чердынского уезда
Пермской губернии

Художник Ж. Заграбова

Содержание

О том, как дедушка Карпа колдуном был	5
О том, как в бане подменяют	19
О том, как Яков у лесного хозяина побывал	33
О том, как Якуня коров пас, а Гриша через то чуть колдуном не заделался	51
О том, как клады на людей выходят и что из этого получается.....	67
Послесловие	83
Рассказы	87
Лапоток	87
Смерть Федюни.....	109
Краткий словарь устаревших и диалектных слов	117



О том, как дедушка Карпа колдуном был

Вот ты спрашиваешь, как оно всё в стародавние времена было. По-разному случалось. Вот я тебе сейчас расскажу, это всё на факте было.

Дед у меня крестьянствовал — на земле, значит, был. Но и рыбку ловил, зверя бил, дарами лесными кормился. И был у него в соседях мужик, Николай Венедиктович. Дед Колян его звали. Разное про него говаривали. Как по губы-де пойдёт, вмиг из лесу с полным лукошком возвращается. Рыбак и охотник был первейший — морды всегда ломаются, а уж куничку, белку ли — лучше всякого вываживал. Стали люди примечать: ведь неспроста такое, знать, пригонял ему кто-то. Известное дело — биси, без бисей такое уж никак не получится. Стали спрашивать у угланов.

«Нет, — говорят они, — не видали никаких бисей у дедушки. У нас в голбце только птички живут в решетке. Дедушка их кормит, а нам не велит в голбец лазать. Баские такие птички, пёстренькие — какие-то жёлтенькие, какие-то красненькие. Вона, Серёжка в голбец лазил, игрался с имя, дак дедушка с покосу прибежал. И как почуял, далёко ить? Ох и отмутузил он Серёжку!»

Птички-то, это биси и есть. Они деду Коляну были дадены в помощники. Так вот бывало.

Потому-то и боялись все Николая Венедиктовича. Шибко боялись. Он, когда с кем говорил, в глаза не глядел, все зырк-зырк по

сторонам. Меня-то уж потом учили: коли убереешься хочешь, дак ты кукиш сложи да и носи в кармане, когда мимо колдуна идешь. Я так и делал.

А дедушка-то мой, Карпой его звали, раз с одним мужиком из-за межи рассорился. Тот у него крадом межу переносил. И добром говорили, и к волостному ходили, а толку — чуть, уж до поножовы едва не дошло. Шибко озлился дед-от. Тут его как заморока взяла. «Дай,— думает,— пойду к деду Колян, может, он научит». Собрал гостинчик: печиво там, казенку — да и пошёл. Только за порог ступил, Колян его уже и встречает.

— Знаю, — говорит, — за чем пожаловал. А дед-то еще и рта не раскрыл. Вот как он догадался? Всё, значит, ему открыто было.

— Знаю, за чем пришёл. Проходи, поговорим. Только дело это страшное. Не испугаешься?

— Не, Николай Венедиктович, не испугаюсь. Мне, знаешь, мужика одного спортить надо.

— Да уж знаю про твою печаль. Ну, коли готов, доставай гостинчик, разговаривать будем!

У деда аж волосы поднялись, кожа на голове зашевелилась. Слышал, что через собаку лизть надо, чтобы чертей узнать.

Посидели они так, слово за слово, вечер за окном. Тут Николай Венедиктович и говорит:

— Коли, Карпуша, надумал, как полночь пробьет, приходи к бане нашей. Там ружье стоять будет. Заряди ты то ружье крестиком нательным, а как в баню зайдешь, стрели прямо в правый угол. Выйдет тогда из каменки собака огненная, дак ты в пасть к ней и полезай, не бойсь. А там уж сам увидишь, что делать.

У деда опять волосы заподнимало, закрестился он наотмашь. А дед Колян заворчал — осерчал, видать.

— А вот это ты брось, ни к чему тебе крест теперь. И думать забудь, коли научиться желаешь. Там это не жалуют.

Дед в избу свою вернулся. Полночь пробило, стал он собираться, а от божницы глаз отвести не может. Лики у святых строгие. Николай-угодник нахмурился, мол, не дело ты, паря, задумал! Неладно что-то деду стало. Как без креста, без молитвы прожить? Материнские золотые слова вспомнил: «Честным христианским трудом живите, детушки! Никакой чёрт тогда не страшен. Бесовское, оно хуже воровского. Проживёте без хворости и беды, коли слова мои попомните». Золотые слова, поминка по бабке. Оно ведь как бывает? Вот у нас, уж при колхозах, председатель, наш же, деревенский, собрал по домам иконы, в кучу склал у сельсовета. Старухи воют, бабы причитают. На иконах-то дух домашний — каждый сучок, каждая царапинка сизмальства знакомы. Хоть и ругнешь когда в сердцах, а все одно — своё, не соседское. Плач, вой, мужики чуть не за колья хватаются, а председатель-то керосину плеснул и поджег. И как его на месте не вдарило-то! Пламя аж в звёзды столбом жарнуло, Старухи говорят: сами видели, как святые по этому столбу дымному на небо ушли. За старух не скажу, правда, нет ли, а вот сам видел: Богородица-то в огне корчится, кровавыми слезами плачет. У ей же младенчик на руках, он

хоть и безгрешен, а на небо тяжко не одной подниматься. Как замерло тогда в деревне. «Всё, — говорят старухи, — покинули святые домины наши грешные — не будет теперь ни праздника, ни работы». А председателю этот костёр боком вышел. Беды с того самого дня на него посыпались. То тёлка пропадет, то двор сгорит. А потом, в аккурат на Пасху, сам на конюшне задавился.

Поглядел дедушка Карпа на иконы и поостерегся идти. С бабой уж не лёг, забрался на лежанку, а сон не идёт, хоть волком вой. Ворочался, ворочался на овчине, табаку высмолил чуть не полный кисет. А тут часы два ночи бьют. Слышит дед: на крыльце как шебуршится кто. Как был в исподнем, за дверь выскочил. А там дед Колян на четвереньках на крыльцо ладится. Стонет, на губах пена, весь изодранный. Глянул дедушка ему в глаза — и аж дух перехватило — глаза-то красные, кровью налились. Едва губами шевелит, лешакается.

— Что ж ты, мать твою, Карпуша, наделал! Ты ж меня так подвел, так подвел! Выблядок ты злокозненный! Они ж меня два часа по бане кидали, все кости перемололи, перещупали. Верить ли, вверх ногами подвешивали, порты спускали, голубей заставляли голой жопой ловить. Уж какую муку принял через тебя, сучье ты отродье!

Дед-то опешил, подхватил Коляна, в избу втащил, отхаживать стал. Очнулся тот, глаза так и сверкают. Зябко дедушке стало, дрожь его бьёт, хотя и у печи. В глазах у Коляна муть мельтешит. Принял он стакан водки, застонал протяжно так, потом унялся.

— Всё, — говорит, — Карпуша, нет тебе обратной дороги. Что задумал, довершить надобно. Иначе смерть тебе мученическая будет. Завтра в то же время приходи. Только там ещё парнишечка будет, Гриша, ты уж его наперёд себя пропусти. Но смо-отри, на сей раз тебе спуску не будет.

Ушёл Колян и дверью так хлопнул, что окна сдребезжали. Завила кручина тяжкая дедушку мово. Струмент в руки возьмет — он на пол валится, упряжь чинит — игла пальцы колет. Ни дела, ни работы. Баба вокруг его целый день крутится, чует неладное.

— Ты бы к батюшке сходил, исповедался, может, полегчает? Или вон с детишками поиграйся, а то каверзят друг дружке. Может, оно и не так все обернётся?

— Молчи, дура! Знай своё место!

Ушла баба на женскую половину, на лавку села, а все одно мозолится — жалко мужика. Христианская ведь душа, а вон как мается.

Вот уж и вечер. У деда перед глазами Николай Венедиктович стоит, пальчиком грозит. Хочет дед глаза отвести, али повернуться, а не может: в пальчике том необоримая сила заключена. Как верёвками его опутало, — ни встать, ни сесть толком. Полночь пробилло, пошел Карпа к бане. Огородами крался, аки тать в ночи. Стыдобушка! По своей-то деревне крадом. Они, вишь, широко привыкли ходить по своей-то по улице. И жили широко, на полные свои способности. А тут, как курёнок общипанный. Идёт дед и страшно ему, жутко. Собаки, говорит, где-то завыли, чуть штаны не испачкал. Про ту огненную вспомнил. Так до бани и добрёл. А там, и верно, парнишечка стоит, Гриша, мнётся. Ну, может, и не углан уже, а просто худобушка. Деда увидел, чуть в крапиву не сиганул.

— Мы, — говорит, — так не договаривались. Пушай Николай Венедиктович сам приходит.

Насилу дед его успокоил. А уж полночь минула, пора бы Грише и поторапливаться. Зашарил он за пазухой, крестик с гайтана рванул, в ружьё забил и — в баню, как в воду студёную. Слушает дед, что ж дальше-то будет. Грохнуло за дверью, смяргал кто-то, и тихо стало, только ангелы Господни что-то молитвенное выводят. Дверь в сторону поехала, вышел из бани Гриша, бормочет что-то. Мимо деда, как мимо стенки прошел. Глянул Карпа ему в спину, а парень с затылка аж светится.

Тогда Гриша с полгода ходил, как шальной, ни с кем слово не вымолвит. Потом уж только рассказывать стал.

— Зашёл я в баню, — говорит, — в угол ружьё нацелил, зажмурился и жажнул. Высунулась тут морда собачья из каменки, жаром страшным оттуда потянуло, а в углу вроде как засветилось что-то. Вгляделся, а это Христово распятие. Вот как оно из угла показалось, собака смяргала и пропала. А распятие всё на меня и на меня надвигается. Иисуса до каждой жилочки видно, тернии прямо в лоб высокий впились — кровь капает. Стал я кровушку с чела стирать, а он губы по-доброму так скривил — улыбается. Однако ж видно, что совсем замучился человек — губы спеклись, рёбра все наружу торчат, а дыхания уж и не слышно почти. Как волна теплая у меня по телу прошла, благодать опустилась. Тут и ангельское пение началось. И выходит из угла Матерь Божия в прозрачных одеждах и ласково так меня по темечку гладит. Рука у неё лёгкая, невесомая. «Иди, — говорит, — с Богом». И вот я пошёл, и пошёл, и пошёл...

Много он ещё такого рассказывал, однако батюшка его не залюбил изрядно.

— Еретник, — говорит, — ты, Гриша, созлый. Анафема проклятая!

А тот уж ничего не отвечал, улыбался только странной своей улыбкой. Но дед тогда этого не ведал. Взбодрился, на Гришу глядя. Ничего страшного, наоборот, вон он какой просветленный вышел. За ружьё крепко взялся — охотник ведь был, крестом зарядил — да и в баню. А там не то мылом, не то ладаном пахнет, может, и берёзовый дух стоял, дед уж этого не упомнит. Жутко опять стало, но пересилил себя, пальнул. Стены банные закачались, на каменку ровно кровью брызнули — пар солоноватый прошёл, и жаром страшным потянуло так, что камни стали потрескивать. Чует дед: не один он стоит, хотя и не видать никого. Появилась тут собака огненная — сначала махонькая, потом все больше и больше, уж и на полке не помещается. Искрами брызжет, а на что похожа — и не углядишь, лик ее убегает куда-то. Пасть, однако, расщеперила, а с губы слюна каплет, пол земляной чуть не до камня прожигает. В этакую страсть-то прыгать! Зубища, как косари, по ним кровь черная бежит... Дальше дед никогда и не рассказывал. Очнулся, говорит, в той же бане, у столба. Чует: кто-то его за пятки щиплет — лебедь белая старается. И тоже ведь в пасти у ей зубья торчат. Понял дед, что еще испытание предстоит. И взаправду, лебедь пасть свою расщеперила: полезай, мол! Полез и — вот диво — оказался за дверью дубовой, в казённом каком-то помещении. Там все столы, столы понаставлены и юркие какие-то бегают. Стали они его от одного к другому подпихивать, пока разобрались, зачем мужик пожаловал. У деда уж и голова кругом пошла. Спрашивают они:

— Тебе сколько?

— Да чего?

— А за чем пришёл.

— А-а, вон чего... Да мне одного мужика спортить, больше не надобно.

— Ишь ты какой! Мы меньше трех и не даём.

Насилу уломал их Карпа — одного посулили.

Тут опять закрутило его, заметелило, под зад коленом поддали — дед в дверь и вылетел.

Глядит: опять в бане. А в окошко уже и утро видать. Стряхнул дед пыль с колен — и за дверь.

Идет, а за ним парнишечка-углашек увязался какой-то незнакомый. Бежит вприпрыжку и канючит, ну, совсем как дите малое:

— Дяденька, дай работу, дай работу!

— Да какую ж я тебе, такому углану, работу дам?

— А вона, коров на выпас гонют, хоть одну спорть.

Колдуны-то, они, вишь, поначалу скотину портят, кошку там, собаку ли. Уж потом на людей переходят. Тогда от них самое зло большое и идет.

Ну, делать нечего, пришлось деду за корову взяться, сам и не знает, как такое получилось. Спортит он корову, а тут еще парнишечка откуда-то взялся, тоже за ним поспекает. Бегут и оба в голос блажат:

— Дяденька, давай работу! Дяденька, давай работу!

А время-то сенокосное было — самая пора. Привел их дед на двор — литовки наладил — и айда на покосы. Идут по улице, а Карпа удивляется: хоть и двое их, парнишков, однако никто их не замечает. Ну ладно, пришли, весь день пластались, косами махали, а парнишечки все не унимаются, работу просят. По дороге опять же кошку спортили, ан третий углан откуда-то взялся. А потом, говорит, чем дальше, тем больше. Поутру на покос пришел, а трава-то даже и не примята там, где биси-то косили. Парнишечки биси и есть. Ни травинка не ворохнулась, всё — как было, только та полоса, где хозяин сам шел, и выкошена. А парнишечки грозиться стали:

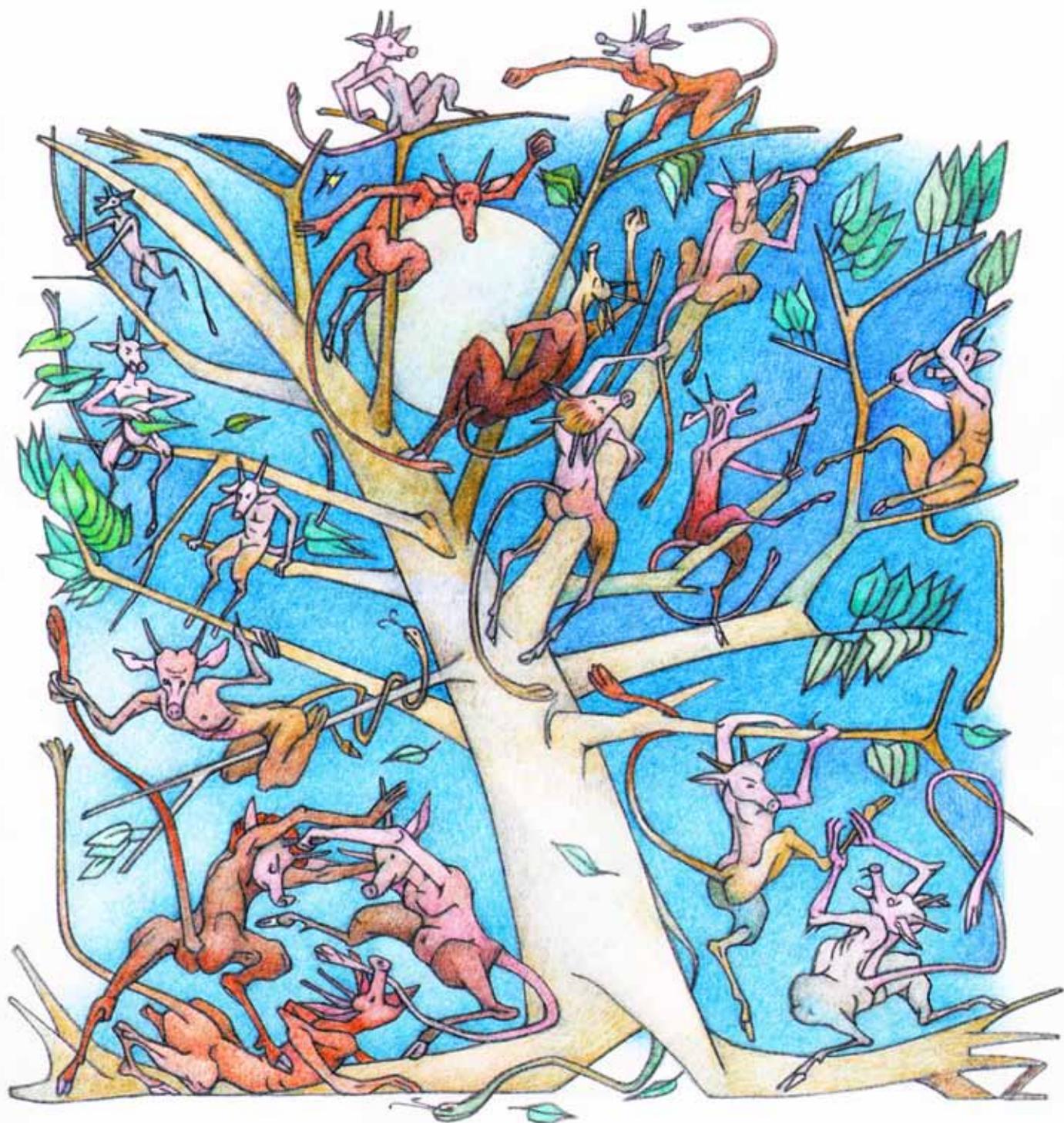
— Коли не дашь работу, тебя самого замучим! Сам себя съешь, грызь в требуху запустим. То-то мы на поминках попляшем!

Карпа уж и не знает, что делать: матюком крыть или в колокола бить. Биси пуще того изголяются:

— Расскажешь кому про нас, вовсе со свету сживем, кожу спустим. Наш ты теперя, куда не денешься!

Так и глумятся.

Люди-то бисей не видят, не слышат. Одному деду их видать. Он попервости, вишь, думал, что чужих разоблачать будет, ан нет, не получилось. Уж сколько раз к Николаю Венедиктовичу навевывался — ни одного не видал. Дед Колян усмешку только строил.



– Ты, – говорит, – не тужи, Карпуша, из-за бисей. Ну их, чужих-то, от своих житья нет. Ты-то еще малехо попортил, а мои уж в голбец едва влазят. Старуха туда давно не спускается – боится. И все ить, стервецы, работу просят. Где ж я им столько работы наберу? Уж и одного здорового в деревне не осталось. Сам посуды: идёт девка, ядреная, титьки из сарафана того и гляди вылезут, ан в чреве её не младенчик – грызь, по ветру пущенная, требушинку поедом ест. К Рождеству, глядишь, и преставится.

– Страшно так-то, Николай Венедиктович. Чем же их кроме человечинки прокормить возможно? Сам говоришь, что все уж в деревне порченые.

– Это, Карпуша, дело поправимое. Они хитры, да и мы не промах. Видал ты осину? У самой ростани стоит, старая, совсем разохлась.

– Видал, как не видать, это которая у Кривого лога.

– А как листочки на ей дрожат, видал? Моя осина, мне дадена. Как биси одолевать начнут, я им такую работу даю. «Пшли, – говорю, – на старую осину листья считать!». Они хотя и мучители наши, а слушаться должны! Вот биси на неё и лезут. Считают, считают, а ветер дунет, они со счета и сбиваются. Один «Тыща!» – кричит, другой: «Две!», а третий и вовсе несметуру несёт какую. Так и передерутся, перессорятся. А мне, глядишь, ослаба хоть на время.

Вот ты, молодой человек, улыбаешься – совсем, мол, Егор Иваныч из ума выжил, а сам посуды. Голубь-то, вишь, птичка святая, Божья. Господь, он един в трех лицах: Бог-отец, Бог-сын и Бог-святая дух. Святой дух, он тот самый голубь и есть. Так вот, птичка эта святая ни в жисть на осине свой полет не остановит. На какую хошь лесину опустится, а на осину никогда. Колдовское это дерево, бесовское. Опять же почему она колдуну отдана? Владей, не хочу! Иуду-христопродаца знаешь, поди? Дак вот, он Господа нашего за тридцать сребреников продал – дьявола потешил. А тому только этого и надо – душу людскую подловить, укараулить. Не стало Июде покою, вот дьявол в петлю его и затолкал на самую Пасху. Удавился-то он на осине – с той поры она и дрожит, то ли от бисей, то ли от тела черного, души гнусной. Из осины и для хозяйства ничего путного не сделаешь. Это только в верхах у нас из нее лодки делают. Ну это так, к слову пришлось.

Слушай дале, как дедушка мой колдуном был. Хошь, не хошь, а придумывать с бисями ему много пришлось. Мужика, которого хотел, он так и не испортил, того ещё раньше лесинной задавило. А куды денешь бисей-то? Вот он и придумывал. На осину отправит листья считать – они там с колянскими повстречаются да и передерутся. Вот люди осину ту обходить стали. Как мимо ни пойдешь, она всё ходуном ходит, чуть не с корнями из земли выскакивает. Или маку горсть бросит им, чтобы весь до зернышка собрали и пересчитали. Они уж и в рост пошли: юркие, пузатые, гунявые. Дед их мучицей да болтушкой подкармливал, чтобы его самого не так грызли. С бабкой мешки разделил – один её, другой дедов. Это уж бабка сама рассказывала:

– Пошла, – говорит, – я раз в голбец за капустой да посмотреть, чё это у мужика мука так быстро идет. Спускаюсь – Матушка-заступница! – сидит у мешка мужичонка бородатенький да муку

прямо ладонями трескает. Морда, как у кошенка, глаза светятся, на усах мукой обметано. Я ему: «Кыш, проклятуший!» А он вдруг расти начал, прямо на глазах поднимается, разбухает. Да так по-нехорошему все ухватить норовит. И дышать невмочь стало — задыхаюсь, уж захрипела. Тут, ду-маю, и конец мой настал. И не отобьешься ведь! Меня вон в девках два солдата в кустах поймали, уж и юбку на голову закинули, да я отбилась. А тут ни рукой, ни ногой не шевельну. Сама не помню, как я выскочила. Ох, досталось Карпе тогда, до сих пор мою отметину на темени носит! «Мне, — кричит, — рассказывать не велено, а то вовсе замучают». Тьфу, пропасть! Гадость какая!

И страшно деду, а все интересно, хоть одним глазком охота поглядеть, какие они, биси, у других-то. Снова к Николаю Венедиктовичу пошёл, больше-то не знает, к кому.

— Ох, паря, не дело ты задумал, ни к чему это всё. Ну что они тебе на душу пали?! Ладно, коли уж загорелось в трубе, слушай. Только одно скажу: так всё было, не так — не ручаюсь. Был, говорят, в деревне нашей гармонист. Фасонистый, гордый не по годам, но музыкант был изрядный. У них ведь как заведено: денег не плати, только окажи почет и уважение. Так и шло все чин чинарем, но вдруг случилось, что на пирушки его звать перестали. То ли другой какой гармонист объявился, то ли ещё какая причина. Заскучал он — обидно стало. Гармонию чуть не на вышку забросил. А тут вышел раз на крыльцо да и сказал в сердцах: «Хоть бы меня черти на вечерку позвали!» Ближе к вечеру парни незнакомые приходят: «Ты, что ль, гармонист?» — «Ну я. А вам-то какая печаль?» — «Зря злишься. Приходи лучше в баню нашу, поиграй малехо. Мы тебе хорошо заплатим». Гармонисту-то того и надо, но для виду ещё поторговался: и идти, мол, далеко, и денег маловато, и охоты нет на ночь глядя. Согласился все ж. «А баню нашу, — гряд, — по синенькому огонечку найдешь». Пошел он, как стемнело. Долго плутал, огонёчек синий его, однако, вывел. Свет от него какой-то неяркий шел, будто месяц молодой сквозь тучку проглядывает. Вошёл парень в предбанник — пусто. Банную дверь приоткрыл — там окромя огонёчка ничего нет. Прикрыл только, — как козочки по мосту колготятся, — застучало по доскам, да дверь сама собой и распахнулась. Глядит, и странно ему делается: парни те же, девки при них незнакомые, да ба-скущие такие, что глаза отвести невозможно, и все вроде как положено, — закуски, полштоф на полке — однако что-то не так. То ли девки больно бесстыжие, ногу чуть не выше колена кажут, то ли парни больно мордастые да круглые, не поймёшь. Ну да ладно, плюнул гармонист сквозь зубы, сел в уголок, пальцами по кнопкам пробежал и заиграл. Те сразу заскакали. И пляска у них такая удивительная, какой он и вовсе не видал. «Не моя, — думает, — забота, как пляшут. Мое дело маленькое — прокукарекал, а там хоть не рассветай». Играет, пот со лба утирает, а эти всё не унимаются. Стал гармонист примечать: они, когда скачут, пальцы в скляницу макают, глаза снадобьем каким-то трут. Любопытно ему стало, что за снадобье такое налажено, улучил минутку и залез одним пальцем, пока плясуны отвернулись. Правый глаз смазал. Тут как искры посыпались, стены у бани сразу разъехались, и оказались они то ли во дворце, то ли в кабинете каком. А парни и девки бесстыжие совсем другими сделались. Хвостатые и рогатые, прыгают друг на

друга, на полу извиваются! Срам, да и только! Гармонист от изумления и играть-то бросил. Они к нему: пошто, мол не играешь?! — «Да мне до ветру надобно, по нужде». — «Не пустим, удерёшь». — «Да я вам гармонию оставлю. Вот те крест!» Как крест-то на себя наложил, они вроде съёжились и от дверей бочком, бочком попятись. Вскочил парень на вольный воздух — и дёрнул! А место-то узнать не может. Сам не помнит, как до дому добрался. На печь залез да там и дрожал до утра. А утром со святой водицей, с крестом пошел ту баню искать. Насилу отыскал. Гармонь, говорит, в ключья порвали — одни планки остались. Да еще скляница на полке стоит. Парень уж ее не тронул, углы только банные окропил святой водицей, помолился, дверь с окном крестом обнес. Так и сейчас эту баню Чертовой называют, не моется там уж никто.

Такая вот история, Карпуша. Понял ли?

— Да понять вроде не шибко хитро. Нешто ты, Николай Венедиктович, полагаешь, что скляница та сохранилась? И угланы ее не разбили, и баба никакая под дело не приспособила?

— Это уж как повезет, Карпуша. Чёртова баня, запомнил?

Как сказал, так и случилось. Сыскал дед эту баню. И скляница там на полке стоит, только то чудно, что ни пылинки на неё не село, как протирает кто. Снадобья-то самая малость осталась. Протёр дед один глаз, вот только забыл — правый ли, левый. Не в том суть. Стал он многоё видеть, что раньше недоступно было. Идет по деревне и дивуется. Куда глаз ни кинь — везде окаянные пристроились. Один вон у самой околицы притулился, на жердине ждёт, когда кто мимо пройдет. А сам-то приговаривает: «Меня с печи батогом, а я с вами веселком. Как захочу, так и проглочу». Известное дело, похваляется. Сам-то с палец, съест не съест, а вот попортить — всегда пожалуйста. Идет девчоночка-углашка, репку жует, он и — прыг! — на неё. Сначала на репку, потом уж с неё на роток, а там и в нутро. В избе у оконца старуха сидит, пониток починяет, а нитку в иголку вдёрнуть не может. Окаянный под руку толкнёт, она и не попадает. Старуха-то лешаается на иглу: «Вот, чёрт тебя заberi!». А он и рад, на глазах раздувается, что твой пузырь.

Идет Карпа дальше, сквозь стены всё в избах видать — такой зоркий глаз стал. В одной избе, вишь, молодые на полатах заиграли. У молодухи-то коса длиннющая, до полу свешивается, вот окаянный её и теребит, сам норовит заместо мужика пристроиться. А другой свёкра подговаривает, нашёптывает ему в уши — тот за молодыми в щёлку подглядывает. Дальше идет — мужик за столом сидит, думу чёрную думает. А чертенок из-за штофа выглядывает, подмигивает — быть в этом дому делу чёрному.

Страшно стало деду. Что-ж делать-то? Как себя да родных убережет от такой напасти? У каждого ведь черти свои. Вот колдунья-горбунья в голбец спустилась, в пестере жучков перебирает. Дед Колян птичкам пёрышки оправляет, а в другом доме черти медуницами кажутся — в гнезде своём гамазятся. Всех и не распознаешь — какие они у других бывают. Призадумался дедушка Карпа: что ж люди-то скажут, коли у него самого окаянные откроются. Их хоть и не видно, а способы-то есть — на каждого управу найти можно.

Ведь и сегодня такие люди найдутся, что любого колдуна распознают и высмеют. Колдуны хитрованы, а они хитрее того.

Вот у нас как-то было. Пошел слушок на мужика одного, что он чертистый. Ты дом его видел — раньше справный был, а теперь без хозяина совсем плохой. Вдруг стали за ним замечать, что глаза при беседе отводит. Это уж первый признак. А потом баба одна рассказала. Дочка у неё была. Волосики кудрявые, мягкие, глазлица большие, ну чисто ангелок во плоти. Три года девять месяцев ей исполнилось. И вот, надо же такому случиться, в избу мужик этот чертистый пришел, на опохмелку просить стал. Мать-то на пече лежала — она дояркой робит — после утрешней дойки. За скотиной опять же ходила, вот и умаялась. А колдун-то пристал, как банный лист — денег ему подавай. Она ему: «Уйди ты, Христа ради, не до тебя, чёрт лысый!» Тот не уходит. «Пусть дочка, — мать-то говорит, — кошелек тебе подаст. Мелочь там у меня, бумажных-то уж нету». Дочка и подала — восемьдесят семь копеек. Колдун по голове её погладил и говорит: «Спасибо, доченька. Вон ты какая, Граша, красивая выросла». И только-то. А ведь хватило! Стала девочка чахнуть и чахнуть. И недели не прохворала, померла, бедная. Что с матерью-то было! Вот она выла и выла. Дитя-то последыш, его жальчее всего. А ведь только погладил по голове и сказал: «Какая ты, Граша, красивая». Пошла мать к старушке узнать. Та ей говорит: «На похороны не зови никого. Кто в могилу свёл, тот первый должен прибежать». Так и сделала. А день-то ненастный получился, дожжило, ветер опять же холодный. И вот надо же! Ни один человек не пришёл, а этот чертистый тут как тут. В избу заходит. «Я, — говорит, — должок тебе принес. Восемьдесят семь копеек». А сам все в гробик норовит заглянуть, видать, чертенка забрать надо было. Им же нельзя, чтобы черти пропадали, — остальные замучают. У матери-то в глазах потемнело, но сдюжила, ничего уж не сказала. Схоронила баба Грашу, на могилке поплакала и пошла к бабушке учиться. Та ей все как есть рассказала, ничего не утаила. И как узнавать, и как привязывать. Знаешь, поди, воскресная молитва есть? Так её если навыворот прочитать при колдуне, он на одном месте мозолиться будет, никуда уйти не сможет. Или иголку еще хорошо в косяк втыкать — тоже с места не сойдет. Так вот и привязывают. Баба та колдуна на поминки зазвала, на девятый день. Накормила его до отвала, браги поднесла, а потом возьми да и прочти воскресную молитву навыворот. Привязала его к лоханной ножке. Это лохань — с нее зимой скотину поят, — которую в избу со двора забирают. Он и заелозил, и так и сяк, а выйти-то не может — молитва его держит. Ох, худо ему было — полную лохань наблевал, дак баба блевотину съесть заставила, все не отпускала колдуна. Всласть поизмывалась, но дочку-то не вернёшь. Чертистый позже, как увидит её, бегом бежит. Потом съехал с деревни. Так вот колдунам достаётся.

Задумался дедушка Карпа. Куда ни кинь — везде клин. И от чертей не убережешься, и от человека знатливого. А биси-то уж и вовсе поперёк горла встали — не знает, что с ними и делать. Ночами они деду такую трепку задавали, что не дай Бог. Поутру едва с лежанки вставал. А все потому, что портить не желал. Закаялся он, деда Коляна проклял, минуточку ту, когда

колдуном заделаться решил. Тоже пошёл учиться, как от чертей избавиться. Обошел все святы места. В монастырях на соломе, когда и на голых досках ночевал, дале-то складов его не пуцали, поганый, мол, человек. Ниче не помогало, пока со знающими людьми не свиделся. Они ему велели черную магию учить, чтобы все дьяволья известны стали.

Это у нас в верхах, говорят, тоже такая книжица имеется. Там все еретники созлые деревнями живут. Книга-то ихняя и есть. В черномазии этой все не по-простому. Буковки не черненькие, а беленькие, страницы, вишь, навыворот, как сажа, чтоб читать сподручней было. Вот как прочтешь её, всё про всё знать будешь. Карпа много мест в верхах тогда исходил. Научился-таки. А как силу набрал, домой возвернулся. Как раз на покос и угодил. Начал людям о бисях своих рассказывать. А им-то это самое плохое и есть, чтоб другим известно стало. Карпа силу набрал — так просто его не возьмёшь, — вот и порешили они всем гуртом навалиться. Это уж бабка мне поведала. Откосил Карпа за день, стал литовку протирать, чтоб звонко шла, да как вдруг подскочит! Стал руками размахивать, будто отбивается от кого. Потом упал, по траве катается, от горла кого-то отдирает. Весь покраснел, хрипит, уже и кричать не может, пена со рта ключьями летит. Баба не будь дура, молитву сотворила, крестом обнесла кругом: Вроде отпустило малехо. А страшно, что ж дальше-то будет. Пошел Карпа к батюшке, покаялся в своем грехе. Тот стал молебен по нему служить, еще отпустило поболе. Тогда Карпа все свои сбережения нищей братии роздал, молиться стал. Молился три месяца и три дня, почти без продыху. И ведь помогло — отстали от него черти, дали ему покой и ослабу.

А с Николаем Венедиктовичем ещё того страшнее получилось. Он ведь всю жизнь свою чертей множил, вот и стали они его под конец давить. Довели человека так, что и гроб он себе стесал, сколотил, отходить уж собрался. А биси-то не давали с миром помереть. Я уж тогда большенький был, сам всё помню.

Раз утром прибегают Колянин углан, внучек.

— Дедушко, — говорит, — помирает.

Ну, мне же любопытно, вот тоже и побег туда. В избу-то пришли, так сразу и слышать, что человек кончается. К самой лежанке подходить боязно, издали поглядываем. Дед Колян сам с собой разговаривает, только на разные голоса, ругается по-чёрному. Один голос тонкий, другой потолще. Руками размахивает, все норовит задеть кого-нибудь. Старушки шепчутся, бабка его молча стоит, как закаменела. И вдруг — Господи! — хлынуло из него. И носом и ртом: сметана, молоко — так и хлещут! У Николая Венедиктовича аж шары на лоб полезли, руки свело. А старушки приговаривают: «Нажрался за жисть свою поганую чужого молока, вот Господь все обратно и отбирает». А это и вправду бывает такое.

У нас корова раз пришла с пастбища — вымя расперло, не заденешь, сразу реветь начинает. Дед-то нахмурился. «Это, — говорит, Николая Венедиктовича работа. Он молоко закрыл». Шапку в горсть — и за порог. Уж не знаю, о чем они там толковали, но дед Колян пришел, пошептал

что-то над коровой. «Через день, — говорит, — снова доить можно будет. Лучше прежнего получится». Так и было. С той поры не меньше двух ведер выдаивали. А то ещё могут молоко под кожу скотине запустить. Тогда уж и вовсе не поправить, забивать придётся. А не забьёшь, дак пропадёт, и ни молока тебе, ни мяса. Или, скажем, нагуляется корова за день, а молока только с кружку и нацедишь. Это тоже биси выдаивают колдуновские. Вот так и воруют они молоко.

Хлынуло, значит, у Николая Венедиктовича и ртом и носом. Сережка, внучек его, аж затрясся:

— Дедушку жалко!— да и кинулся к нему, за руки схватил.

У деда Коляна глаза разом размутнелись, погладил он Сережку по голове, говорит:

— Вот спасибо тебе, внучек, забирай себе и владей.

А мать Сережина оттаскивает его и орёт на всю избу:

— Верни ему обратно, сыночка! Верни, Сереженька!

Тот и понять-то ничего не может, башкой крутит.

— Верни, всю жизнь маяться будешь!

А дед уже последний дух испускает. Догадался Сережка — неладное сделал. Хлопнул тогда деда по плечу и говорит:

— Прости меня, деда! Забирай себе обратно.

Только сказал, Коляна опять закорезило. Ужас, что с ним делалось! Черти-то помирать не хотят, вот и ему не дают, мучают. Если б на кого другого перешли, из родственников, тогда бы сразу на тот свет отпустили. А так не имеют такого права.

Чуть позднее отпустило деда Коляна маленько. Вот он и говорит:

— Помру, дак читать надо мной позовите Гришу. — Это тот, который в бане распятие видел. — Только его и зовите, чтоб никто другой даже рядом не стоял. Он один отчитать до конца сможет.

И снова его заломало. А тут мужики с поля вернулись.

Поглядели, в затылках поскребли.

— Однако, конёк надо поднимать, иначе не помрет, все мучиться будет.

Взялись за топоры, над дедом Коляном потолок разобрали, хоть с комнаты на вышку лезь. Не помогло. Тогда один на крышу залез да и подрубил конек. Это, вишь, делают, чтобы душе способнее было в небо подниматься. У колдуна-то душа грешная, от грехов великих заскорюзлая, как гири они пудовые, так просто не подыметя. Но и конёк не помогло подрубать. Тогда старушка одна посоветовала:

— Возьмите стакан с тонкими стенками, из которого он воду пил, поставьте в самую печь под трубу да в стороны разойдитесь.

Так и сделали. И вдруг вздохнул так спокойно Николай Венедиктович, аж ветерок по комнате прошёлся. Морщины у него разгладились — дух испустил. И в тот же миг вода в стака-

не помутнела, забурлила и как кровью окрасилась, плеснула волной и успокоилась. И вот что любопытно — опять чистая да прозрачная стала. Тут все и разошлись — покойника ещё обмыть, обрядить надо. Кто-то за Гришей отправился.

А нам с Сережкой интересно: как это Григорий над дедом Коляном читать будет? Сговорились мы по дурости и малолетству крадом на печь забраться, чтобы выгладеть, как всё будет. Не стало никого в избе, вот мы и — шась — на печь. Рухлядью тряпочной накрылись, чтобы раньше времени не разоблачили, и затаились. Сережка шепчет:

— Не бойсь, на русской печи тебе никакая сатана не страшна, это мне мамка сказывала.

Да я и сам уж знал, что печь наша матушка на все горазда. В ней и варят, и пекут, и белье стирают. Раньше еще и мылись, бывало. А уж дух какой от нее в избе — нигде такого нет.

Ну, затаились мы, как мышки, ждем. Сережка посапывает — умаялся за день, а я руку себе чуть не до крови исщипал, чтобы не уснуть. И вдруг входят три дяденьки в избу, а там как раз никого не было. Входят, озираются, один на божницу глянул, дак его аж зашатало. Подскачили они к Николаю Венедиктовичу, ногами стучат, что твоя кобыла. Я пригляделся, а ноги-то у них коневьи. Вот страсть-то! Двое покойника под руки подхватили, третий на его место ладится лечь. А лицом-то он — ну вылитый Николай Венедиктович. Тут я как заорю:

— Спасите! Спасите! Воры!

Мужиков как и не было вовсе. С печи-то я спрыгнул, чтобы Сережку не разоблачили. Бабка его и говорит:

— Что ж ты, детонька, кричишь? Грех ведь при покойнике. А я ей:

— Деда Коляна чуть трое на копытах не увели, а один на его место ладился. Бабка запричитала, закрестилась:

— Господи! Господи! С нами крестная сила! Что ж это такое тебе, детонька, привиделось! Это ж дьяволья самые и есть.

Прибежали мужики, выслушали.

— Надо,— говорят,— пятки ему приречь. Ежели покойник, дак ему все равно. А ежели кто подмененный, тут ему и испытание будет.

Раздули угольки с загнетка, на щипцах к пяткам приложили. Господи! Завоняло как! Меня завыворачивало, едва успел на крыльцо убежать. За мной и мужики вышли.

— Ну,— говорят,— терпеливый покойничек. Знать, не подмененный.

Деда Коляна-то в деревне шибко боялись, вот и радовались, что обошлось все.

А я крадом обратно в избу — и на печь. Сережка там уж со страху икает, худо ему. Но до Григория дожидаться решили. Тут уж стемнело. Слышим: на крыльцо кто-то поднимается. Как раз Гриша. Он добрый был, всё с ребятишками возился, забавы разные придумывал. Богомольный опять же. Бабы его шибко уважали, а мы и вовсе не боялись. Зашел Гриша с книгой толстенной. Она вся в коже, застежки железные, картинка какая-то нарисована. Посмотрел Гриша на Николая Венедик-

товича внимательно так, свечечку достал, огонек затеплил. А дальше нам уж совсем странно показалось. Гриша лучиной в печи поковырял угольки, раздул, а потом затоптал. И вот этим огарышем вокруг себя очертился. Книгу раскрыл и зашептал что-то — не то молитвенное, не то еще какое-нибудь. Мы, как ни вслушивались, только отдельные словечки и разобрали: «Я в кругу... бабки-большегрудки... черти по-за кругом...» Больше ничего и не слышать, но страшно стало. Свечечка венчальная горит, огонечек у нее подрагивает — сквознячком потянуло где-то. А на стене две тени. Одна большая — Гришина — в рост. Другая — только бороденка торчит и нос остренький — деда Коляна.

Пламя свечное колышется — вот тени по стенам и шастают. И кажется нам с Сережкой, что вот-вот восстанет Николай Венедиктович, длани свои прострёт на печь, ухватит пальцами ледяными за горло так, что и не крикнешь. А Гриша что-то бормочет, читает, как в церкви. И, странное дело, круг, который обвел, только и светится. А за ним темно.

Стал Гриша затихать, а сам всё на деда Коляна поглядывает. Вдруг у того рука шевельнулась. Потом веки дрогнули. И глаз-то, глаз-то открылся! Заворчал дед Колян и поднялся из гроба. Я себе руку до крови закусил, чтобы не заорать. Сережка головой в тряпье зарылся. Поднимается дед Колян медленно так, садится, глаза у него чёрным обметало. А зубы-то, зубы! На Святках, на игрище, когда Покойника провожали, и то не такие страшные из брюквы вырезывали! Смотрит на Гришу с усмешечкой:

— Пришёл, не испугался чертей-то. Помолчал Гриша маленько и говорит:

— Пришёл, Николай Венедиктович, не испугался. Знаешь ведь, что весь свой страх у твоей бани оставил.

— Да знаю, знаю. Только вот как тебя черти не съели?

— А я приготовился.

— Хитер ты, гад. Хитер не по годам. Ну, да нам с тобой ссориться ни к чему. К одному ведь человека ведем. Что со мной в прах уйдет, что с тобой.

— Вместе, да поврозь, Николай Венедиктович. Ты вот сколь съел за жизнь свою поганую?

— Не твоя это забота, но, так и быть, скажу. Сорок сорожек да сотня окуньков за мной числятся. Это ровным счётом так получается.

— А ведь зряшную ты прожил жизнь, Николай Венедиктович.

— Это уж, Гришенька, не твоего ума дело, зряшную или другую какую. У меня теперь, сам знаешь, судии другие будут. Да и здесь-то ты мне не больно мешал.

— Не скажи, не скажи, Николай Венедиктович. За тобой и здесь догляд был. Да не время сейчас считаться, кто кому что попортил.

— Ладно лясы-то точить. Говори, зачем поднял. А то у меня уж и спину заломило. Передать чего надо?

— Да нет, Николай Венедиктович, нет у меня для тебя передачи. Одна только безделица. Мне её Карпа отдал, ему она в своё время сгодилась. Вышел её срок на земле. Держи вот.

Протянул Гриша деду Колян скляницу. Вся она гранёная, на свету поблёскивает. Знаешь, поди, в таких вот, похожих, хозяйки сейчас уксус хранят.

– Знакомая вещица. Много мне тогда Карпуша хлопот с ней доставил. Ладно уж, передам кому надо. А сейчас всё, хватит. Вышло моё время до доньшка. Отпусти уж с Богом.

– Не богохульствуй хоть за порогом.

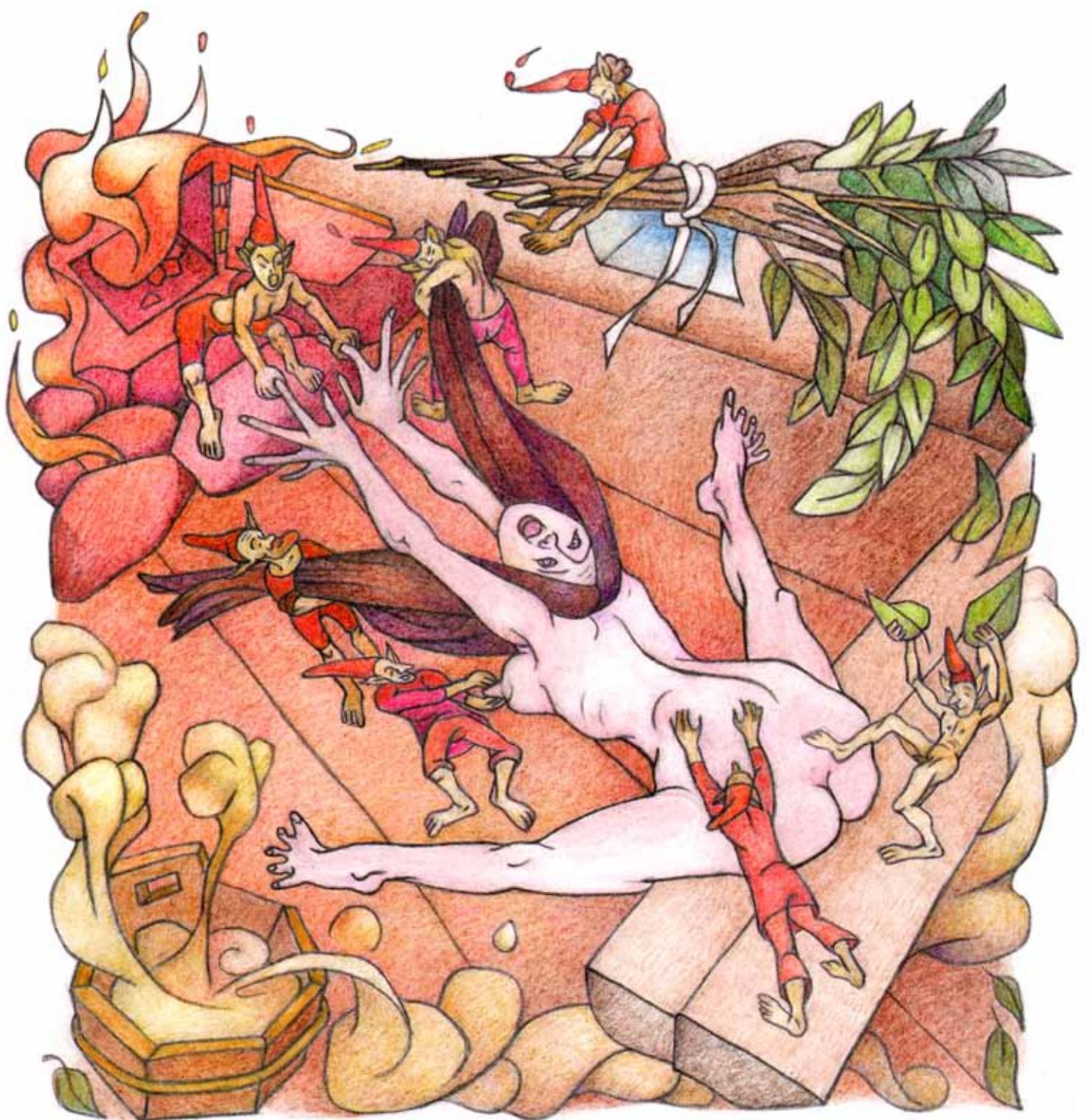
Сказал так Гриша и зашептал опять что-то.

Одно услышал: «Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: «легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им».

Тогда уже дед Колян медленно так опустился на доски и затих. Пропали зубы его жуткие, глаза с кровавой поволокой закрылись навсегда, стан выпрямился, а руки на груди успокоились.

Похоронили его, как доброго христианина. Не было тогда у нас привычки по-собачьему зарывать. На могилу крест поставили, бабка навещала с внучатами. Только как она померла, перестал народ на могилку ходить. Так её травой и затянуло. Сейчас на старом могильнике я её, пожалуй, и не найду.





О том, как в бане ПОДМЕНЯЮТ

Всякое у нас бывало. Иной раз такое случится, что самому странно. Я вот тебе про баню скажу, про нашу. У нас за огородом баня стоит черная — по-черному, значит, топится. Бывал в черной бане-то? У вас в городе, поди, нет уж такого дива. С непривычки может и не понравиться — дымно там бывает, когда протопливают. Дым-то через махонькое окошко выходит, трубу раньше не было привычки выводить. И избы ране такие бывали. Но пар там, не в пример белой бане, — сухой, жаркий. И дух хороший, лесом пахнет, дымком. Другого такого не сыскать, почитай, по всей земле, как он в русской бане стоит. Наша-то баня такая же. Каменка в ей еще прадедом моим складена, он же и сруб ставил. Накрепко, по сию пору стоит, и не покосилась ничуть.

Так вот. Я тогда еще углан был, но шустрый. Матушка баню протопила, а отец с братьями подзадержались, робили они много. И пошел я в баню один. А одному, да еще в первый жар, ходить нельзя, это мне сказывали. А я че, варнак был, маленький, вот и побежал сдуру. Одежду в предбаннике скинул, стопочкой сложил, крестик на гвоздочек. Иначе, вишь, нельзя, не положено в баню с крестиком хаживать. А сам аж от радости жмурюсь: пар-то хороший шибко любил. Ну вот и дожмурился. Как хлестаться начал, чую: вроде щенок где-то визжит. Слушаю, а он то под полком, то в углу. Стал я его по помещению гонять, а щенок вроде под столб забрался и верещит оттуда. Я уж до земли расковырял — так охота было посмотреть, что за собачонка,

— а ее все нету. За кайлом ведь сходил, не поленился, начал землю копать под столбом. А тут с потолочины как грабли на меня опускаются, норовят за волосы ухватить. Я — что есть духу — за дверь! В предбаннике стою, дрожу, одежда вся раскидана, смена в земле вымарана, только крестик и не тронули. Ну, я заревел, как олащенный. Тут в аккурат отец с братьями вернулись:

— Чего воешь?

— Страшно, тятенька. Тама щенок визжит и грабли с потолочины тянутся. Чуть волосы все не повывдергали.

— Дак ты, варнак, напроситься забыл!

— Забыл, тятенька.

— Ну, впредь тебе наука. Пошто один в первый жар пошел? Пошто не напросился у банного хозяина? Пошто землю кайлом-то ковырял? Вот и получил сполна. Спасибо еще скажи, что навовсе не задавили!

Вот с той поры попомнил я тятенькины слова. Когда в баню идешь или еще куда — в овин там, на двор, — напрашиваться надо. У каждой постройки, вишь, свой хозяин имеется. В бане — банная староста, в овине — овинник, на дворе — дворовой хозяин. В баню, сказать, заходишь, дак должен напроситься: «Банная староста, пусти в баньку помыться, попариться». Никакой сатана тогда тебе не страшен!

Потом уж матушка меня отпоила, приласкала да стращать стала, чтобы на всю жизнь запомнил. У нас ведь как бывает: вона у соседей дедушка — пошел он раз в баню да припозднился. Уж полночь на дворе, а время это самое нехорошее — шуликины по земле разгуливают, людям досаду делают, — самое бесовское время и есть. А он запомнил. И вот ушел, и нет его, и нет. Бабка-то забеспокоилась: че ино, где мужик-от? Послала внучка. А он прибегает, кричит: «Дедушко в бане головой в каменку лежит! Уж ободрали его вовсе!» Кинулись туда: так оно и есть. Банники его башкой в каменку запихали да кожу-то обдирать начали. Жуткое было дело.

Если б только с ним! И с другими случалось. Матушка, вон, тогда же мне и рассказывала, что с ней самой в девках случилось. Пошла она как-то с подружкой в баню. А та бойкая была — топит и топит, совсем уж немогоду терпеть, но все мало, еще поленья подкладывает. Тут с потолочины ей вроде и говорит кто-то: «Топи печку жарчей, чтобы кожу обдирать ловчей». Матушка-то напугалась: неладное ведь блазнит, а подруга ее знай подтапливает, жар, видать, любила шибко. Матушка ей: «Тебе, Катерина, знак был, не топила бы шибче каменку, как бы беды не было». Не послушалась та, хотя и много младше была. В баню надо идти, а матушка отказалась и Катерине не присоветовала. А той, что хвост, что погост — все едино. Одна и ушла. А через какое-то время послышались крики оттуда, забренчало что-то, паром двери вышибло. Глядит матушка: Катерина, как ошпаренная, вылетела! Бьется, кричит, кожа с нее сама собой сходит. Долго она без памяти была, а как опамятовалась, все плачет и плачет. Стали спрашивать, что ж там такое случилось. Она и говорит: «Лавку, поллок окатила, веник запарила да бзданула мятным отваром. Ой, что тут началось! Ужас какой! Выскочили махонькие в шапчонках островерхих, стали меня по бане от стены к стене кидать. А сами приговаривают: «Растопила печь жарчей,

кожу будет драть ловчей!» И смеются, окаянные! А веник, как оглашенный, и хлещет, и хлещет! У меня уж и вздоху не хватает, а они все по бане перекидывают. Я под полок, они за ноги выгаскивают и все норовят в каменку запахать. Каменка-то каленущая, жаром от нее так и пыхает. Один за соски ухватился и выкручивает, уж и не знаю, как кожа не полопалась! Сама не помню, как меня в двери-то выбросило». Видят люди: неладное дело. Осенили дверь крестным знаменем. Однако в баню никто не решался зайти. Потом уж заглянули, а там пол весь когтями исцарапан. Глубокущие такие борозды, будто кто плахи хотел выдрать.

Хозяева-то в баню долгонько не хаживали, боялись. Намаялись по чужому пару, надоело до смерти. Вот позвали они батюшку, холста там, яичек посулили за работу. Батюшка в бане отслужил, всю как есть баню очистил от окаянных. «Можно, — говорит, — теперь мыться, париться». Стали они снова там собираться: только уж поодиночке никто и не шел, всем гуртом мылись. А Катерину долгонько никто не сватал. Углань ее «чертовой невестой» дразнили, не со зла, конечно, а так пришлось. Тело-то у нее, видать, поганое стало. Так в девках годков до двадцати засиделась. По тем-то временам это уж перестарок. Опасались парни брать, мало ли что с ней там окаянные сделали.

Однако ж и ее век пришел — высватал Катерину вдовец из соседней деревни. Для девки-то это самый позор и есть, но замуж-то охота, естество женское просит для чрева работы. Повыла она, поголосила да взамуж, как в омут, с головой кинулась. Только плохо ей жилось: мужик злющий попался, первую-то бабу свою он в могилу свел. А за Катериной вон какая провинность значилась. Не простил он ей баню ту, бил ее смертным боем, а родители обратно уж не принимали. Прибежит она вся в синяках, а они ей: «Вертайся, откуль пришла. Не нужна ты нам такая!» Так Катерина и до внуков не дожидала. А жаль, хорошая, говорят, баба была, работающая, с детишками ласковая. Что ж еще-то надо?

Такие вот факты бывали раньше у людей. Да и нашу семью не миновала чаша сия. Рассказ этот долгий, мне от дедушки Карпа по наследству достался. От него это умение ладно говорить и ко мне перешло, хотя у меня так баско не получается, но Бог не обидел, грех жаловаться. Я еще молодой был, старушка одна все приставала: «Давай, — говорит, — Егорушко, научу тебя, как девок присушивать. Есть присушки-де такие — как скажешь, ни одна девка не устоит. Вся твоя будет, делай с ней, что хошь!» А мне ни к чему. Я парень видный был, уста медовые — девки и так липли, вежливость оказывали, вот я и не терялся. Ох, грехи наши тяжкие! Ничего нет на свете слаще греха! Знаешь ведь, поди, девки старые бывают, вот они меня шибко любили. Как вечер, вызывают: «Егорушко-о, пойдём да пойдём, нам тама че-то помочь надобно». А помощь-то, известное дело, какая требуется. Но наказ родительский помнил свято. Как к бане или к овину там идешь — обязательно напрашиваешься: «Хозяин овина, будь милостив, пусти у тебя ночь переночевать». Да ежели еще и подношение сделаешь, совсем ладно будет. И все ласково получалось, и сатана никакая не брала. Так-то вот.

А дедушка Карпа сказывал такую историю, все как есть было. Сами-то мы не из богатеньких, так себе жили, семья большая была. И был у деда брательник младший, Яков. С младшенькими в семье, сам знаешь, как получается. За столом у него самая малехонькая ложка, а хозяйство делить — дак ничего и

не достается. Худо младшеньким-то в семье, как подрастут. А тут как раз неурожай, сушь великая настала. И по полям с иконами ходили, и молебен во дарование дождя отслужили, но Бог, видать, испрогневался — не послал дождя ни капли. Над деревней вихорь пыльной ходит, хлеб уж пополам с мякиной пекут. Не знали, как до осени и дотянуть. Тут, считай по-современному, призыв подошел. В солдатчину забирали. Раньше-то у старосты бывало все расписано, какому двору очередь рекрутов отдавать. А в тот год выпало богатенькому мужику. Вот он и приходит к нашим:

— Дай вам Бог здоровьица. Времена тяжкие настали, година лихая, надобно всем по-соседски делиться. У меня вон хлебушек в анбаре сохранился, запасец какой ни есть имеется. Не надобно ли помочь? Вон у вас семеро по лавкам, а в анбаре пусто.

Прадед-то смекнул, с чем мужик пожаловал. Человек он крутой был и нраву строгого, так и рывкнул:

— Хорош лясы точить! Сказывай требу свою! Не то за порог. А тот:

— Сынок у меня слабенький, не задался, да и бабу еще не знает. Ему бы погулять чуток, девок пощупать, силы набраться, а тут, как назло, рекрутчина! Не выкупите ли билет наш? Я вам хорошо отплачу.

Жаль младшенького, да совсем уж приперло, с голодухи уж пухнуть начали. Ударили по рукам. Выпало Якову безвинно пропадать на армейских харчах да палках. У солдат-то, известное дело, вся наука через задницу палками вбивается.

А перед уходом выговорил Яков себе отвальную неделю. И все за счет богатенького мужика, чтобы ни в чем отказу не было. Вся деревня от его чудачеств веселилась, а родители знай только девок своих за подолы держали, чтобы Якову не попались. Вина ему было, хоть залейся, жрал в три горла, куда только лезло! И все не натешится. В солдаты, почитай, как в могилу провожали. А тут удумал: «Желаю в санях прокатиться с бубенцами. Чтоб все, как на Масленую неделло, было!» Богатенький-то мужик рад стараться. Надо ж такое удумать! Солью всю дорогу у моста засыпал, на мосту по щиколотку. Запрягли Якову лошадей самых ярых и всласть накатали. Песен бабы попели, натешили душу, а последний денечек подходит. У Якова сердце все изгрызло, тоска забирает. Всю остатнюю ночь молился, чтобы Господь легкую службу даровал, чтобы не убило в какой баталии. А утром собрал узелок — и был таков. Только матушке в пояс поклонился да иконку ее поцеловал. Она-то потом долгонько убивалась: сыночка, кровиночку родную, за три пуда хлеба да овечку продала!

А в то время в нашей же деревне баба одна на сносях была. Обрюхатила не ко времени, в самую лихую годину. Ну да против естества не попрешь. Бабам, им на роду написано брюхатеть да детишков рожать, тогда никакая напасть не страшна — не переведутся людишки на нашей земле. А эту, вишь, все тоска какая-то забирала. До последнего дня ведь в работе, спину не разгибала. Больниц-то раньше не было, в банях рожали, по избам, а которую в поле застанет — дак в поле и разрешалась от бремени. Тут и ей время пришло. Помолилась она пресвятой Богородице, прощения у всех попросила. Свекор ее благословил. «Иди, — говорит, — с Богом. Принеси нам уж хоть кого-нибудь». Это, вишь, обычай такой раньше был. Отправилась баба в баню, да, видать, бес ее попутал — не напросилась. Ночью лежит, тихо все. В углу, слышь,

огонек синенький загорелся, и разговор слышать, двое разговаривают. «Приходи сёдни ночью, подруга, у меня квартирантка». — «Одна, чай?» — «Одна. Да у нее ночью младенчик будет. Вот мы их и задавим. Давно я человечинки не пробовала». У родильницы аж испарина по телу пошла, ребеночек забился. «Дак она, может, напросилась?» — «Нет, забыла. Вот и наказание будет. Знатную пирушку устроим».

Баба с полка соскочила, света не взвидя, из бани кинулась. Свекор ее отругал да обратно отправил, перекрестя. В избе, вишь, погано, народ: тогда ведь семьями, не по одному жили. Вернулась баба, а огонечек уже и не горит. Тут-то у нее все и началось. Отмучилась, откричала, девку родила — тело белое, гладкое, волосики тоненькие выются. Дак вот опять незадача — ножницы в предбаннике оставила, пуповину-то нечем резать. Пока обернулась, время какое-то прошло. Заходит в баню, а девчонка ревя ревет, аж заходится от крика, вся пятнами пошла. Испугалась баба, сиську в рот сунула, а девка-то и куснула ее. Дак ведь до крови, — с зубьями, видать, родилась. Тут остальные на крик сбежались. Стали говорить: неладно, мол, что ребеночек с зубами, нехорошая это примета. Кто-то уж убить ладился, да баба не допустила смертоубийства.

Но с ребеночком этим баба намаялась. В зыбке девку качает — та ревет, из рожка молоком поит — та ревет, тряпицу под ней меняет — та ревет. Никакого покою нет от ребенка. Так баба у зыбки и просидела шестнадцать годочков, все доченьку байкала. А та ревет, ест, пеленки марает, а расти — не растет. Ну, ни капельки за шестнадцать годков не выросла!

Яков к тому времени со службы вернулся. Был он в разных баталиях, а турку когда воевали, ранило его так, что и лечить не взялись дохтура, вот и отпустили до дому. Шибко злой он до жизни вернулся. Уж за тридцать, поди, было. Страны чужедальные повидал, а что ж он еще из нормальной человеческой жизни видел? Ничего. Казарма да плац, плац да казарма. На воле-то и разгулялся, одно что силушка позволяет. Сорвал одинов с мужика шапку, баню за угол поднял да зашвырнул шапку туда.

— Юни, — говорит, — штоф, а то баню разбирать придется!

Мужики-то не серчали, тоже ведь люди с понятием. Угощали его сколько могли. Да не век же дурака валять!

А тут такое дело получилось. Загуляли они. Яков про битвы похваляется, где и приврет чуток, силу свою показывает, а мужики да парни знай подзуживают. И про бои охота послушать, и самим в грязь лицом не ударить.

— У нас, — говорит один мужик, — баня есть. Вона, хозяин раз пошел туда, в предбаннике еще услышал, что хлещется кто-то. Дверку-то отворил, а тама банник с банницей друг дружку парят. Каменка каленуца, не утерпишь, какой жар от нее идет. Мужик спужался, убежал.

А другой пуще страху нагоняет.

— Там, — говорит, — нечисто. Утром, как хозяева зайдут, каменка теплая, все чисто выметено, прибрано. Боятся они теперь. А ты, Яков, не испужаешься?

А тому и море по колено.

— Спорим, — говорит, — что пойду туда в ночь-полночь, камень с каменки выну и живой вернусь.

Ударили по рукам. А баня-то та и была.

Полночь пробило, собрался Яков, молитву сотворил, крестик поцеловал и пошел. Входит — что за диво? Каменка горячая, веник в углу подрагивает, будто кто сейчас заметал. Схватился Яков за камень, а выдернуть-то не может. Тужился, тужился — не получается. Тут синенький огонечек в углу засветился, вышла из-за каменки девка голая. Хватъ Якова за руку, а он выдраться не может — пальцы, как железные.

— Тут-то ты мне и попался. Пошто ходишь по ночам, где не след? Пошто тревожишь?

— Дак за камнем я, красавица. С мужиками вон поспорил.

— Дурья ты голова, они ж над тобой надсмеялись. Неподвластна человеку баня с полночи до петухов первых.

— Что ж делать-то мне, голубушка, научи ради Бога!

— Научу, коли пообещаешь в жены взять.

Посмотрел на нее Яков. Ладная девка. Стан крепкий, бедра белые, грудью не одного ребеночка выкормит.

— Да ты, чай, чертовка?

— Нет, солдатик, не чертовка я. Живая христианская душа.

— Что ж ты тут в такое страшное время делаешь?

— Служу я, солдатик. У кого, не велено сказывать. Ну как, согласен ли за себя взять?

— Девка ты ладная, только боязно мне.

— Вот так раз. Ничегошеньки не боялся, в полночь в нечистое место пошел, а тут забоялся.

— Всякое в солдатах повидать пришлось, а такое впервой. Ты, чай, и под венец-то не пойдешь?

— Коли согласный, как велишь, будет. И в церкву пойдём, и к родителям моим. Ну, решился ли?

— Что ж сделаешь с тобой? Решился.

— Ну, коли поладили, слушай меня, ничегошеньки не перепутай. Хозяин меня так просто не отпустит, его обхитрить требуется. Завтра в полночь сюда же ступай. Как синенький огонек засветлится, выйдет к тебе мужик страшной. У него ты меня и просватаешь. Мужик тебе скажет: «Невесту, мол, выбирай, которая тебе люба». Приведет тебя в помещение, а там двенадцать девок, все на одно лицо. Но ты не тужи. Коли рассмешить сможешь, без оплошки выберешь. Как все заулыбаются, смешки пойдут, бери ту, у которой зубы белые. Я это и буду, у остальных-то они желтые. Потом он предложит тебе приданое выбирать. Там два мешка будет. Правый не бери — в нем все горести человеческие собраны. Настоящее приданое в левом мешке, то, что я за шестнадцать лет праведной службы заработала. Одежду для меня не забудь!

— Понял я, красавица. Только мне к мужикам зазорно без камня возвращаться. Ты бы уж подмогла.

Улыбнулась девка, а зубь-то у нее и вправду белее снега белого.

— Эка незадача. На вот, держи!

Смотрит Яков: девка камень взяла да легонько так вынула из каменки. И не стало ее. И огонек погас, как задули его. Вернулся Яков к мужикам, а они смеются.

— Что-то ты, солдатик, грустный пришёл. Не иначе тебя банница околдовала, чертовку высватала!
Бросил Яков камень на стол.

— Может, и правы вы, мужики.

На том веселье и закончилось.

Извелся Яков, весь день в думах провел, как быть-то. Одному жить — с тоски в петлю полезешь, а за старого какая же девка пойдет. Ровнюшки-то все уже в бабах, ребятишек не по одному и не по два имеют. Решился-таки. Ближе к полуночи в баню пошел, на лавке примостился, сидит, ждет. Тут огонек синенький засветился, каменка затрещала, и вышел из нее мужик. Косматый, брови до подглаз достают, руки — как бревна, и шерстью поросли.

— За чем пожаловал, солдатик?

— За хорошим делом, за сватовством. По невесту, дяденька. Скучно одному жить стало, а у тебя, слышал, товар имеется.

— Есть у меня товар, а не испугаешься?

— Я-то? После турки мне сам чёрт не страшен.

— Ну смотри. У меня девок много. Только, ежели ошибка выйдет, не отпущу я тебя. До скончания века будешь в услужении.

— Дак чё, дяденька, назвался груздем — полезай в кузов! Где твои девки?

Отступился банник, каменка жаром пыхнула, чело отворилось, и оказался Яков в помещении просторном. Стоят перед ним двенадцать девок на одно лицо. Какая та? Побрел он, каждую разглядывает, а в глазах у них тьма-тьмуца. Мёртвые глаза. Тут Яков и споткнись. А девки зубы оскалили, засмеялись:

— Ну и женишок, идет — спотыкается.

Глянул Яков: у всех зубы жёлтые, у одной только белеются. Ухватил ее Яков за руку: вот, мол, моя невеста. Остальные тут же и пропали, как не было их вовсе. Нахмурился банник.

— Ладно, твоя взяла, хорошо выбрал, повезло тебе. Теперь приданое выбирай.

Тут Яков не растерялся, сразу за левый мешок ухватился. Грохнуло что-то изрядно.

— Хитер, гад!— сказал банник и исчез. Очнулся Яков — в бане стоит, а рядом девка. Оделась она.

— А сейчас, — говорит, — веди меня в избу, где ребёнок плачет.

Приходят они в избу. Баба-то у зыбки сидит, качает, байкает. А ребенок ревет, заливаясь. Подбежала девка к зыбке, схватила его да как бросит через левое плечо! Потом топором расколола.

— Кого растите!— кричит. Глянули родители, а на полу чурка осиновая. Девка отца с матерью обнимает, целует.

— Я ваша дочь настоящая. Меня банник подменил, когда ты, маменька, за ножницами пошла. Шестнадцать лет он меня в служанках продержал, а вы чурку осиновую байкали. Я к вам не одна пришла, вот жених мой. Не смотрите, что не ровнюшка мне, Яков меня из услужения спас. Кабы не он, сидеть бы у банника до скончания века.

Порадовались они, конечно, попиروвали. Молодые обвенчались. От этой пары еще кровь наша пошла. Но это уж в другой раз скажу, как они жили-были, какие еще с ними странности случались. Беда одна ведь не приходит, все норовит, как маслята на грибнике, всем скопом выйти. Вот и у нашей семьи так получилось. С банником на том не закончилось. Так до сей поры и не знаю, как бы вышло, если б Гриша не помог.

Это уж у меня на памяти было. Старший братан мой девку взял. Отгуляли на свадьбе, а через какое-то время пришел срок Евдохе от бремени разрешаться. В аккурат под самое Рожество. Народ тогда шибко гулял, весельство было безудержное, но чтобы по-злему озорничали — такого не бывало. Каждый шутку понимал, коли уж попался, дак не обижались. Мы вот раз в Рождественскую неделю из избы выйти не могли. Торкались в двери, торкались, а они — как закаменели. Пришлось через двор идти. А и там ворота на запоре. Тятенька смеется:

— Ну, — говорит, — шуликины надсмеялись.

Пришлось нам стену разбирать — тогда только и вышли. На крыльце кто-то, вишь, созорничал — золы насыпал горкой и водой залил. Вот за ночь-то вода настыла, приморозило золу так, что и не выйти. А у двора поленицу развалили.

Шуликины по всей деревне на палках скачут, как скаженные. Рожи сажей вымазаны, юбки старинные бабкины болтаются — не разберешь, кто где. У нас-то ничего, а у деда Коляна тогда корову со двора свели. Насилу он ее отыскал, шуликины-то корову на овин загнали, как и управились?! Весельство весельством, а Евдохе не до смеху. Кому не впервой, им и то муторно перед самыми родами, а ей все внове и молоденькая была еще. Шибко боялась, вот и снарядили с ней старушку опытную. Расположились они в бане, все как у людей, — тепло, чисто, сухо. На удивление, говорят, она быстро разрешилась. Да так спешила, что старушка по воду сходить не успела. Каленая вода у них, вишь, приготовлена была, а студеную не успели. Вот старушка и побежала на польню, ладно, что речка под укосом.

Евдоха потом сказывала: только старушка за порог — заворчал, зашебуршал кто-то под полком. Страшно стало, а она же без всего лежит, кругом кровью перепачкано, и младенчик рядом. Хочет Евдоха встать, а не может — как придавил ее кто большущий к лавке, ни вздохнуть, ни охнуть. Хочет заорать — язык сковало, рукой шевельнуть — не поднимается. И чует, карабкается кто-то на нее. Плоть мягкая, как подушка, пальцы холодные, склизкие, так и шарят по телу, так и шарят — к горлу подбираются. Бедрa раскрытые поглаживает, холодом под самое сердце катит. А потом как обручами железными стянул — да так, что молоко брызнуло. Где уж силы-то нашла — застонала, сбросила — и в предбанник. Стоит, дрожит вся, тут как раз и старушка подоспела.

— Что ж ты, милая, на мороз выскочила да младенчика одного оставила! Загубишь ведь мальчонку! Как бы беды с ним не было.

В баню заскочили, услышали только, как смяргал кто-то. Мальчонка ворочается, сопит.

— Ну, слава тебе, слава тебе, Господи! — старушка закрестилась, запричитала. — Не случилось ничего с младенчиком.

Евдоха-то без сил на лавку опустилась, худо ей, терпеть нет моченьки. Старушка и говорит:

— Молодец, девка, совладала с окаянным. Он, сатана, сырых-то баб пуще всего на свете любит, когда они после родов только-только, когда в теле все раскупорено. Вот и ладился. Ему сырая-то баба — самое то и есть.

И верно. Вон я когда заготовителем работал, жил в одной деревне, недалеко здесь. Дак там то же и было. Разродилась учителька одна, а муж-то у ней в ту пору на сборах был командирских. Она, правда, не в бане рожала, а в больнице, по-культурному все, как врачи велют. Вернулась с мальчиком, а одиноко они жили: родни никакой, из Сибири откуда-то приехали. Вечером примечают соседки: поздно уже, а у учительки шторы зашторены, свет горит, тени какие-то ходят. Не иначе — гости. Потом потухла лампа вроде. Утром глядят: из квартиры никто не выходит, печка не топится — даже дымка не видать. Подошли к двери, а на крыльце следы, как от копыт. Сломали створки, а в квартире все порушено, побито. Учительки нет нигде, а младенчик едва живой в одеяло завернутый лежит. В печь-то, в трубу заглянули — там ее, бедненькую, и нашли. Вся в царапинах, исполосована, рот полотенцем завязан, чтобы не кричала. Бабушки говорили, что это сатана ее укараулил, под вид мужа показался, наслаждался ею, отдал бесенкам, чтобы натешились, а потом и убил. А младенчика тронуть они не могут — младенчик, он безгрешный, до него никакая нечистая сила не доберется. Муж-то вернулся, ребенка забрал и к родителям уехал своим. Вот так вот.

А Евдоха со старушкой еще три дня в бане жили, в избу не перебирались. Странно только ей казалось, что мальчонка почти и не плачет, хнычет только тихонечко, как шуршит. На вид-то здоровый, а сердце материнское не на месте. Однако в избу перешли. Самое время настало крестить парня, а в крестные порешили Григория позвать. Уважали его шибко, хотя и работник из Гриши никудышный был — непонятно, какими гвоздочками душа к телу приколочена. Пришел Гриша, на младенчика поглядел внимательно так, — это уж я сам помню, — потом на Евдоху, так и колет, так и колет ее глазами. Она и утерпеть не может.

— Ты его, Евдоха, одного в бане не оставляла?

— Да нет, дядя Гриша, не бывало такого. Ежели одна по нужде выходила, дак другая оставалась, все, как заведено было.

Они, вишь, со старушкой-то решили скрыть поначалу, что не все ладно. Вот и не сказывали.

— Смотри, Евдоха, все ли так было?

— Да все, все, дяденька.

— Ну ладно, до завтрава прощайте, а утром ты мне, Евдоха, сон свой расскажешь. Только чтоб все без утайки!

С тем и вышел. А поутру просыпается Евдоха вся в слезах.

— Ой, Господи, Господи! Спаси мя и помилуй, прости все прегрешения наши! Ой, да за что же мне такое наказание, Господи! Да что же это такое привиделось!

Так и причитала, пока Гриша не пришел. А как появился он, она и вовсе в три ручья залилась.

— Ну, сказывай быстрее, что видала во сне-то. Может, помочь еще вашей беде время есть. Она малехо успокоилась и рассказывать зачала:

— Иду я по громадному лугу. Травы кругом мягкие, цветочки пестренькие, так и стелются под ногами. А босиком иду, вроде и не по земле, не чую ног под собой. Трава-то мягче пуху лебединого. Иду я, иду, а впереди оградочка виднеется. Беленькая оградочка, штакетины там легонькие, тоненькие. В оградке детишки ходят. Посмотришь на них — сердце радуется, какие они умытые да причесанные. Волосики у всех длинные, ниже плеч опускаются — и у мальчиков, и у девочек, у каждого в руках игрушка или книжка там. Одни губками шевелят — читают, другие с игрушками играют. Одежи белые длинные. И ходит с ними вроде воспитательница. Тоже халатик на ей длинный, белый, до полу. А Ванюша мой по-за оградкой ходит, плачет. Смотрит на ребятшек и еще горше заливается, тихонечко так, не шумно. Ему тоже в оградочку охота — книжки почитать, игрушками поиграться. Бровки нахмурил, насупился, так и скулит, как собачка побитая. А воспитательница мимо проходит и не видит Ванюшеньку. Сердце у меня зашло — сыночек, кровиночка! Подхожу я к воспитательнице ихней: «Что же вы Ваню моего не пускаете?» А она мне: «Не нервничайте, мамаша! Не положено его туда пускать. Не наш он, нельзя ему со всеми детьми». Как так нельзя, роженое ведь дитятка! Вот я и заплакала сама. «Что ж вы говорите такое? Не собачка ведь он. Чем он хуже этих-то?» Воспитательница вроде смягчилась лицом. «Сходите, мамаша, к сторожу нашему, может, он пропустит, а мне нельзя». Пошла я к сторожу. А он бородатый, борода чуть не до пояса спускается, глаза в морщинках, добрые, как лучики от них исходят. «Знаю, — говорит, — твое горе, Евдоха. Знаю, да помочь не могу. Сходи к набольшему, может, он заступится, поможет чем».

Отправилась я к набольшему ихнему. Иду, глаз поднять боюсь. Стыд меня жжет проклятуций, испереживалась вся. Подхожу. «Не бойся, — говорит, — женщина, подними глаза. Грех на тебе тяжкий — родное дитё уберечь не смогла. Взял бы я его в оградочку к детям, да не могу. Не наш он, уж не обессудь. Живи надеждой, Евдокия, времени у тебя на все про все не более суток осталось». Сказал так и пропал. И луга не стало, и оградочки, и детишек в оградочке этой, и сторожа, и воспитательницы. Только пустошь кругом кочковатая, всеми ветрами продуваемая. И ни деревца тебе, ни былиночки. Стоит посередь пустоши Ванечка мой и горько плачет. Тут-то я и проснулась. Ой, Господи, Господи, за что ж мне мука такая нечеловеческая!

И снова слезами горькими залилась, стала о столешницу хлестаться, как невеста на просватанье. В кровь руки исхлестала. Помолчал Гриша, задумался.

— Сутки, говоришь, дадены?

— Да сутки, сутки, миленький! Спаси уж дитятко мое ненаглядное, а то не жизнь мне, сей же час задавлюсь!

Тут-то старушка не сдюжила, все рассказала, как было на деле, как Евдоху банник давил, как бросили они мальчонку.

— Да знаю я, бабушка. Ясный у Евдохи сон был. Пока ты за водой рыскала, а молодуха от сатаны

отбивалась, подменили вам мальчонку. Веник сунули. Он сухой, вот и шуршит, как хнычет, а вам блазнит, что это человеческий детёныш.

— Что ж делать-то, родной, подсажи, Гришенька. Что хошь тебе за то будет!

— Да что с вас возьмешь? Ничего не надо. Обещайтесь только, что молебны отслужите да нищей братии хоть что-то из капитала раздадите.

— Это мы завсегда, только спаси, Гришенька, парнишечку нашего, ничего на доброе дело не пожалеем!

— Давайте мне мальчонку, веник ваш банный, сейчас и пойду.

Евдоха за сверточек цепляется, обезумела, ревмя ревет, у братана у самого слезы на глазах. А мы, угланы, забились в угол и языки прикусили. Чуем, что страшное дело происходит. Как ушел Григорий, все в избе и замерло. Вернулся только часа через два. Весь взмок, рубаха на спине потемнела, в сенях от него пар валит, как от жеребенка запаленного. Пришел, к пече привалился, едва дух переводит.

— Нет, не соглашаются отдавать. Голубенка мне взамен все выбрасывают. Сейчас снова пойду, только отдышусь.

Отдышался Григорий и пошел опять. Час проходит, еще того страшнее возвращается.

— Трудную вы мне задачу задали. И сейчас не отдают. То щенка выбросят, то поросеночка молочного. Приглянулся Ваня им, видать.

Посидел так за столом какое-то время, ковш квасу выхлебал, в третий раз пошел. Возвращается, на себя не похожий.

— Получай, Евдоха, свое сокровище!

Сказал и пал, как замертво. Вот уж похлопотали мы над ним. А младенчик спит себе. Сиську пососал и уснул — намаялся за три дня-то. Евдоха над ним склонилась и на шаг боится отойти. Григорий, как в память вернулся, снова страшать начал.

— Муки ваши еще не закончились. Пока некрещеный младенец, всякого ожидать можно. В избе-то его святые наши стеречь будут, а вот как крестить повезем, тут глаз да глаз нужен. Да вы не отчаивайтесь, я, силы будут, помогу. Но, всякое бывает, ко всему готовым нужно быть.

Два дня минуло, в церкву засобирались, крещение принимать. А то, хоть и живой младенчик, его вроде и нету вовсе. Ни имени, ни защиты от напастей.

Церкву-то, поди, знаешь нашу, бывал ведь. Нынче мода пошла — в храм, как на экскурсию ходить. А наша-то церква знаменита на всю округу. Здесь ведь раньше, еще при царе-Косаре, люди не жили. Это дед моего деда сюда первый пришел. Беглый он был, не то от солдатчины, не то от боярских люностей. Беглые людишки завсегда в наши земли свободные стремились, тут уж таких много побывало. Поселился здесь Егор Сушь — мне имечко в его честь досталось, — на берегу речки избу поставил, обустраиваться стал. Тоскливо только одному пришлось. Вот и стало ему ночами чудиться, что с верхов крик петушиный доносится. По тому случаю и речку Чудовкой назвали. А потом раз углядел: стружь да щепки по реке плывут. Это уж первейший признак — в верхах кто-то поселился. Стали друг к дружке в

гости навещиваться да и зажили вместе. Потом ещё кто-то пришел, из беглых. Так, человек к человеку, и деревня наша встала. Народ появился — на пеньки грех молиться, вот и порешили часовенку рубить. Срубить-то недолго — и место нашлось, на самом высоком берегу. Там, что вниз, что вверх, далеко все видать. Река-то на излучину идет, дак там такие леса открываются, что сердце не нарадуется, особо когда солнце садится. Толково наши предки жили — ладно место для жилья подбирали, ладно работали, ладно веселились. Сруб-то для часовенки поставить — дело нехитрое, да вот где икону взять, хоть бы уж какую-то? Думали-думали, так в голову и не забрело. А к вечеру бегут с реки угланы, орут во все горло: «Икона пльвет, икона!» Мужики — на берег, глядят: и взаправду икону к берегу прибило. Одно только странно — она против течения приплыла. Тут её из воды и вынули, в часовенку внесли. И начались с того дня службы, крестины да венчания.

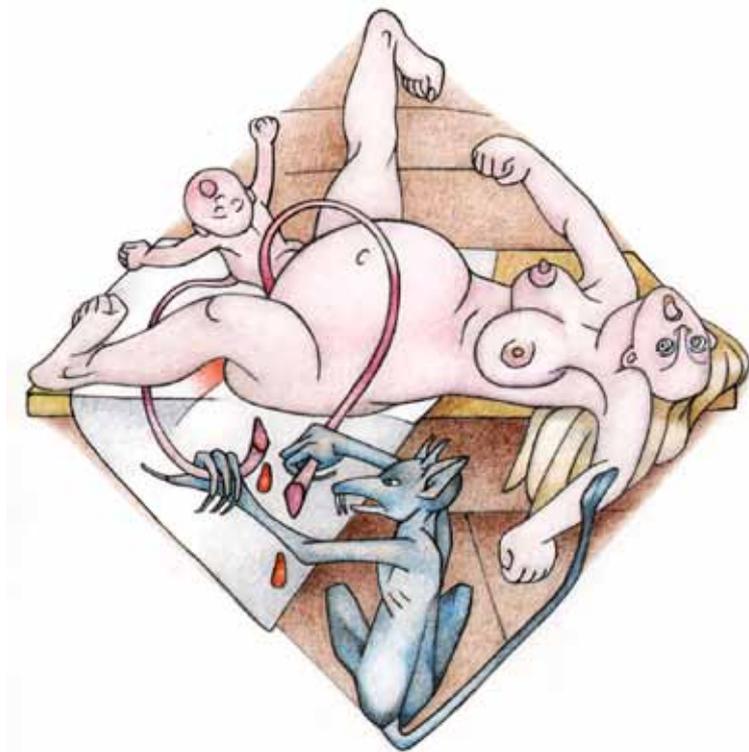
Потом уж, много позднее, решили каменную церковь наладить. Деревня-то разрослась, народу много — негоже всем в деревянную часовенку хаживать. Да с каменной церковью такая, вишь, приключилась история. Правду, нет ли говорят, врать-то вроде не с чего, только церква наша сама себя строила. Людям не понятно, как это так — и камень завезли, и раствор намесили, а каменщикам невозможно даже за фундамент взяться, не пускает их к материалу. Однако ночью камень — как убывает. Так оно и шло. Старухи говорили: мол, Бог с ним, с камнем, без божественного промышления тут не обошлось. Потому и трогать не велели. И вот в одно прекрасное утро ахнули все жители. В ночь церква сама прямо из земли поднялась. Куполами сияет, решётки на окнах узорчатые, а над воротами икона Божьей Матери в дорогом окладе — хоть сейчас службу отслужить можно. Но порешили сначала внутреннее убранство в Явленной церкви закончить — ее Явленной назвали. Позвали богомаза, который по стенам выучен писать был, он по канону и расписал. Но первейшая картина у него с преисподней вышла, как там черти грешников на костре палят, в котлах варят. И — надо же такому случиться! — только закончил он работу, грохнуло в небе, хоть и день ясный был, вдарила в самую церкву громовая стрела. Но не то удивительно, что светлым днём, а то, что прямо в глаз сатане. Исправлять тогда не велели, так и простояла эта картина с ущербом до тех дней, как церкву порушили.

Вот в Явленную церковь и отправилась Евдоха с Григорием сына крестить. В санях устроилась, медвежьей полостью укрывшись, а позади мы, угланы, увязались — полная кошевка набилась. Нам же любопытно! Дорога-то недалняя была — с одного конца на другой переехать. Едем, и вдруг вихорь взметнулся на дороге. Закружило, заметелило. Погода ясная стоит, а вокруг саней пуржит так, что и не разберешь, где хомут, а где дышло. Только видать, как Григорий в санях поднялся. Руки в стороны раскинул, а вихорь кругом вьётся. Тяжко Грише приходится, а от нас помощь какая? Тем паче, самим шевельнуться невмочь. Мерин наш, как вкопанный, стал. Хрипит, бьется, пена с губы ключьями летит во все стороны. А нас словно мороз сковал. Видим только, что слабеть Григорий начал. Уж и руки опускаются, вот-вот совсем рухнет. А младенца из материнских рук так и рвёт, так и рвёт вихрем.

Мы уж, грешным делом, подумали, что всё, конец, не управиться Грише с бесовской силой. Но тут — батюшки святы! — небо открылось, а там все золотом блестит да серебром. Вот такими громадными

буквами одно слово пламенеет, и распознать его можно — «ЗРИ!». Потом вроде лицо женское промелькнуло. И всё. Пропал вихорь, будто не было его вовсе. Небо закрылось. Стоят наши сани посередине улицы, народ со всех сторон сбегается, и солнце всюду польхает. Конь опамятовался, затрусил себе потихонечку к церкви. Только Гриша без сил в санях откинулся.

Вот я и думаю: что ж то слово означало? Кержаки так в своих книгах нужное помечают, батюшка мне объяснил, что призыв это к внутреннему нашему оку, чтобы мы сердцем чуяли, как всё на земле да вокруг нас обустроено. А я вот по недомыслию своему полагаю, что знак этот другое глаголет. Трудно тебе — глаз не закрывай, не отводи. Силы на исходе — опять же дело своё не бросай, глаза пошире распахивай. И на смертном одре, и в радости, и в печали не забывай глаза открытыми держать. Гриша так и жил. Ничего от него не укрывалось, потому и людям от него большая подмога была. Потому и не боялся он ни черта, ни сатаны, ни человека лихого!





О том, как Яков у лесного хозяина побывал

Я тебе давече о том, как Гриша с вихорем совладал, рассказывал. Ты, может, и не поверишь, что такое случается, но вот послушай ещё сказенок. Это с Яковым было, он сам и рассказывал. Вот зажили они с Натальей ладом, детишков нарожали. Яков по людям плотничал, справный мужик был — топор в его руках так и летал, так и летал. Весело, говорят, работал, нарадоваться люди не могли, как у него всё с шуткой-прибауткой, весело и красиво выходило. Да и Наташа в бабах-то удалась. Она, вишь, в услужении у банника была, дак многое узнала, что нам и не снилось. Скотину лечить, кости поправлять — к ней со всей округи сходились, она никому не отказывала. Но вот от порчи и сглазу, от бесов она не лечила, не бралась. Не велено, видать, было. Так и жили они, от других-то людей почти и не отличались.

Якову, вишь, приходилось и в соседние деревни наряжаться, чтобы с заказами затруднений не было. И вот раз пошёл он верст за десять. Топор за пояс заткнул, другой инструмент в ящичке. Идёт себе по дороге, только пыль лаптями поднимает. И вдруг, говорит, закружило, заметелило прямо на дороге. Солнце от пыльного столба уж и не видать, темно кругом. Идёт прямо на Якова огромный вихорь, деревья, какие по обочине есть, к земле пригинает, в поле копёшки разбрасывает. И то странным Якову показалось, что идет как по ниточке. Схватил он ножик, размахнулся да и запустил прямо в вихорь.

Загудело вокруг, земля сдрожала так, что Яков на дорогу повалился. Поднимается — чисто кругом. Нет никакого вихоря, а в том месте, куда ножик бросил, пыль дорожная, как дождём пририта. Пригляделся — батюшки! — кровь чёрная на дороге. И ножик пропал, как сквозь землю провалился. Однако надо путь дальше держать, а дорога-то лесом.

Сердце у Якова не на месте, хотя и хаживал он лесными тропками не однажды, знал лес как свои пять пальцев. Вот идет он, и все какие-то шаги за спиной чудятся. Обернётся — нет никого. Совсем ему неладно стало, решил лесными тропочками пойти, большак стороной оставить, чтобы от ужаса этого избавиться. Не иначе, заморока его взяла. Ведь знал же, что даже самая короткая дорога не всегда к цели выведет! Идет он и вспоминает, что в этом самом лесу с другими людьми случалось.

А бывало, говорят, по-разному. Вон, бабы раз с покосу возвращались всем гуртом, языками-то прочесали и напроситься забыли. А лесной хозяин шибко этого не любит. Вот идут они себе, идут, вдруг кто-то заухал по-страшному, заорал: «В го-ору! В го-ору!» Бабы в кучу сбились — страшно им, а вместе, может, и ничего не случится. Идут дале, вдруг в ладоши кто-то бить начал, да так звонко, что шум по всему лесу. Одна баба догадалась. «Переворачивайте, — говорит, — стельки быстрее, а то неровен час задавит нас лесной-от хозяин!» Быстрехонько ведь перевернули. И что ж ты думаешь? Сразу все стихло. Тут они бегом, бегом — даром что за день напластались на покосе, — убежали. В лесу, вишь, тоже с понятием ходить надо.

Вон, дедушка Карпа сказывал, а ему многое открыто было. Есть, говорит, в лесу визирки, ну, просеки по-вашему. Одни-то человеком проложены, а другие незнаемой силой какой-то. И ночами по этим самым визиркам ходит лесной хозяин, его это тропочки. И шибко он сердится, когда ночует там кто из людей. Сам-то ты его не увидишь, как идет, — незримый он. Только собака и чует. Потому-то он их и не любит. Вот как не удержишь собаку, обязательно лесной хозяин ее задавит. А тебя, коли на визирке ночью найдет, за ноги подымет, раскрутит и закинет на самую высокую сосну — так, что и не слезешь. Ежели опять-таки в лесовной избушке заночевать придется, клади всегда в головы топор. Никакая сатана тогда тебе не страшна. А так свидеться с лешим — не приведи Господь. Страшной он, говорят. Высоченный, головой аж до вершин сосен достает, глаза разного цвета, а на ногах лапти обуты — правый на левой ноге, а левый на правой.

Яков-то, конечно, чуял все это, но решил, что в знакомом лесу никто не тронет. Тем паче, мужик он здоровый, на сплаву вон один из реки бревна выворачивал на берег. А они ж, пока по реке текут, разбухают от воды, тяжеленные деляются. А Якову как жердинки кажутся. Вот и здесь не забоялся. Идет он себе неторопко, вдруг видит: мужик в армяке, в шапчонке на корове верхом по полянке скачет. А было это у самого Кривого лога, где дорога на поля идет. Удивительно Якову стало — мужик-от задом наперед уселся, а корова его слушается, куда хвост повернут, туда и скачет. Подходит Яков поближе.

– Здорово, мужик! Как звать-величать тебя? Всех вроде в округе знаю, а тебя в первый раз вижу.

– Немудрено это, Яшка. Глаз у тебя незоркий, как у кошёнка новорожденного. Ну, коли пришёл, давай знакомиться.

– Да как звать-то тебя?

– А зовут меня Зовуткой, а кличут Уткой. Старшенькие по имени, младшенькие по отчеству. Ты чего это, Яшка, в моих лесах делаешь?

– Да иду себе потихоньку, в селе вон ждут. А ты чем промышляешь?

– А я белок гоняю. И тебя, Яшка, тоже видом не видывал, слыхом не слыхивал. Вот догоняю белок, тебя давить приду.

Сказал так, рукавицей лицо потное утёр и пропал. Подивился Яков, дальше идёт. И чует, что места вроде знакомые, а узнать не может. В другой раз на ту же полянку вышел, в третий. Остановился тут, призадумался. Рубаху наизнанку вывернул, лапти переобул и – вот диво! – сразу по прямой пошёл. Идет, а дорогу никак признать не может. Вдруг засвистело так, что деревья с корнем завыворачивало, – пролетел по лесу вихорь, и стихло все. У Якова мороз по коже прошёлся: не к доброму вихорь-то. А тут вышел на ель громадную. Сидит на нижней ветке девка. Вся как есть голая, ну ни клочком не прикрыта. Волосья длиннющие, до самой земли свисают, и чешет она эти волосья золотым гребнем. Яков-то слыхал, что ежели доберётся такая девка до человека, защекочет до смерти. Вот он за топор и ухватился. Девке-то это не по нраву пришлось.

– Не пугайтесь, Яков, ничего я вам плохого не сделаю.

– Чего мне пугаться, у меня вон топор есть.

– Спрячьте топор, я вас прошу. Спрячьте. Яков, меня не тронете, все у вас тогда будет. Не бойтесь, не бойтесь.

– Да не боюсь я тебя. Мне, слышь, недосуг – в село спешить надо. Не скажешь ли дорогу, красавица?

– До села-то вам, Яков, сейчас и не дойти. Тут все тропочки в одно место ведут. Так что вы ступайте не прямо, а направо, вам тогда и работать нужды не будет.

Вот ведь как, чуешь? Работать, говорит, не надо. Это самое бесовское и есть. Не может человек не работать. Тут вот тоже у нас говорят: мол, счастье какое – не работаешь, а деньги получаешь. Ты, слышь, не верь, от нужды такое у людей. Работает человек, бегаёт – живет, а как остановится – пиши пропало, и недели не протянет. Но и с работой все не просто, есть, понимаешь, дни, когда ни к чему притрагиваться нельзя, иначе Бог накажет.

Вот Ильин день, знаешь, поди? А время-то самое сенокосное, особенно когда погода стоит. Вот у нас один мужик и удумал в Ильин день метать. И что ж ты думаешь? Ночью гроза разразилась, молнией у него зарод весь и пожгло, а от него и соседние пыхнули – пошто, мол,

не удержали мужика, не доглядели?! И ему-то самому худо пришлось. Как ночью побежал сено спасать, его Господь языка и лишил.

Или вот еще рассказывали. В субботу, значит, дело было. Шла Богородица по реке с верхов. Идет и видит: баба ребёнка топит. Деваться ей, вишь, некуда — без мужика прижила, без родительского благословения, — одной-то сиротинку не выкормить, на ноги не поставить. Была бы солдатка, тогда бы всем миром подняли, а так, кому она нужна? Но Богородица мимо прошла, не помогла, не поругала. Сказала только: «Бог в помочь», — и дальше пошла. А ниже другая баба бельё полощет. Богородица брови свела гневно, ножкой по воде топнула так, что брызги во все стороны разлетелись, и дальше пошла. Попали на бабу-дурю эти капельки, на лицо да на руки. Как огненные они оказались — кожу прижгли, а на том месте язвочки незаживающие образовались. Ходит теперь эта баба по деревням, милостинкой кормится, язвы свои всем показывает. А как к нам приходила, Гриша тогда ещё живой был, он её за околицу прогонял. «Не может, — говорит, — Богородица такое злое сделать! Обманываешь ты, баба, народ. Сама, небось, гвоздиком ранки ковыряешь, вот они и не заживают. От Богородицы только мирром да ладаном пахнет, а от тебя, поганой, серой несёт. Не Богородица то была, а дьявол в её обличье. Значит, ты дьяволу и потачишь». Шибко ругался Григорий на неё. Однажды чуть не побил. Может, он и прав, однако по субботам ни один справный хозяин робить на себя не будет, если уж только так, по принуждению, по найму или на казенный счёт.

А Яков-то хозяин хороший был, непонятно ему стало, как это так — не работать.

— Как же такое возможно, чтобы не работать, а жить хорошо? Я вот всю жизнь роблю и отказываться не собираюсь.

— Да ты робь, робь. Никто ведь не запрещает. А награда тебе, за доброту обещанная, будет — за то, что не тронул меня, пощадил.

Любопытно стало Якову, что за награда такая, свернул он направо и в сторону от дороги лесной пошёл. Вышел Яков на зимовье, на крыльцо поднялся, дверь открыл. За столом-то — батюшки! — сидит мужичина громадного роста. Сидит, ухмыляется по-недоброму так. Одна-то рука тряпичей перевязана, на повязке кровь чёрная проступила. Видать, только-только поранился. А на столе ножик лежит. Тяжёлый, острый, из крепкого железа, а рукоятка у него из рога лосиного резана. Яков ножик сразу признал — собственную работу всегда на отличку любой мастер держит. Странно только, как ножик сюда попал да ещё и с кровью свежей на лезвии. А у мужичины глаз ой какой недобрый!

— Вот ты мне и попался, озорник!

— Да что стряслось-то, дяденька?

— Нешто не знаешь? Кто ножик бросал? Кто руку мне раскровянил?

— Ну, я. Да что ж ты, как оглашенный, на людей кидаешься? Пакостишь опять же.

— Это уж не твоя заботушка. Я тебя сейчас давить буду.

Тут из-за печи выходит ещё мужик — вдвое больше против первого.

— Что ж ты, братан, серчаешь на мужика. Не он виноват, а сам ты. Пошто по дороге вихрем прошёл? Пошто копёшки в поле разбросал? Пошто испугать решил без надобности? Видел ведь, идет человек себе, запретов не нарушает, уважение всем оказывает. А тут ты, как шальной, налетел. Любой на его месте осерчает. Верно, Яков, говорю?

— Верно-то, верно. Только как мне отсюда теперь выбираться? Дорога неведома, глушь кругом кромешная. Пока проплутаю, наряд выгодный упушу, а это уж для детишков моих не ладно. Их ведь не матюками кормишь — хлебушком.

— За наряд не бойсь. Работать тебе за сестрицу нашу, за то, что не тронул её, пощадил годы её молодые, не придется. Бери пестерь, набивай золотом вон из того мешка, а братан середний тебя в село на закорках унесет так, что и глазом не моргнешь.

— Дак нет ведь у меня, дяденька, пестеря.

— А ты вон инструмент свой высыпши, вот золотишко в ящике и унесёшь. Тебе да твоим детям до скончания века хватит.

Подумал Яков, раскинул мозгами, а инструмента лишаться не захотел — жалко, вон сколько лет кормил да поил его. Золота решил только один кусочек и унести — детишкам играть. В тряпицу завернул, узелком завязал — и то приличный получился кусок, фунта на два, а то и поболе. Забрался Яков на закорки среднему лешему, тот взвыл, крутанулся на месте, и Яков мигом в селе оказался. Вовремя ведь успел. Хозяева уж других плотников подряжали, цену назначили, а Якова увидали, обрадовались: мастер пришел. Одно ему странно показалось — пока цену назначали и лес показывали, всё косились на его узелок с золотишком и морды в стороны воротили. Потом не сдюжил хозяин.

— Что ж ты, Яков, такое в узелочке несёшь?

— Да так, безделица, детишкам на игрушки, подарочек.

— Уж больно вонький у тебя подарочек, ты бы его за селом оставил, а то, неровен час, удушишь нас всех грешных.

Раскинул Яков узелочек, а там дерьмо лосиное, свежее, аж пар с него идет. Плюнул Яков, подарочек лешачиный подальше закинул да порадовался, что инструмент на дерьмо не променял.

Потом уж вернулся домой, Наташе всё рассказал, как было. Повздыхала она, повздыхала, не велела больше с лешим связываться, поберечься, говорит, надобно. Она, вишь, считала, что все это за её службу баннику отзывается, вот и решила грехи свои замолить. Грех-то, он ныркий, сам и не углядишь, как подберётся, не бывает безгрешных людей. Разве что Гриша такой получился.

Отправилась Наташа на богомолье, а путь не близкий, обещалась только к осени вернуться. Вот Яков без неё и заскучал. Ночью, как глаза закроет, является перед ним жена. Рубаха на ей долгая, в пол, волосы по плечам белым распущены, так и манит, так и зовёт куда-то. А потом, говорит, рубаху скинет, и светится тело её каким-то неизвестным светом. Тянет Яков руку к

ней, а она со смехом в сторону куда-то убегает. Так и мает его всю ночь. Вот-вот тепло бабье почувствует, ан нет — как вода из рук утекает! Извелся Яков вовсе, в избе ночевать уж и не может — жарко ему, душно, на грудь кто-то тяжелым давит. Только в амбаре и спасался. Наладил там себе лежанку. Или в бане ночевал. Только там тоже неладно оказалось: все девки с желтыми зубами вержили, хотя и не один год прошел, как он Наталью у банника высватал.

А тут однажды, как угланы улеглись, ушёл Яков в амбар. И чует, ровно зовет его кто-то. Шепчет так, что едва слышать:

— Яшенька, миленький, очнись, проснись. Полюби меня, Яшенька, так крепко, чтобы на весь век запомнилось.

Вот он к двери подходит, а там Наталья стоит. Пальчик к губам приложила — молчи, мол. Дале все как во сне было. Манит она к себе Якова и шепчет:

— Стосковалась я без тебя, миленький. Моченьки нет терпеть, голубчик мой. Подружки мои монашенки сейчас почивать улеглись, а я к тебе, как на крыльях, полетела. Только уж, будь ласков, никому не сказывай про меня, а то быть беде. И тебе плохо будет, и мне, и детишкам нашим нелегко придется.

Скинула она рубашечку, у Якова аж дух перехватило — дальше плохо запомнил, что и было.

Ну, мужик с бабой, сам знаешь, чем занимаются. Предались они телом друг дружке, только чует Яков: не так что-то, неладно. Наталья, вишь, не одного ребеночка выкормила, а тут титьки, как у козы молодой, как каменные. Но значения по-первости не придал.

Так и повелось: как вечер, идет Яков в амбар к Наталье своей ненаглядной, весь день только о том и думает, что ночью будет. Любил же он её без памяти. Но ночь за ночью всё страннее и страннее ему кажется. За все время баба ни разу о ребятишках не спросила, хотя мать была, каких мало, — нежная и ласковая. Задумался Яков: к чему бы это такое? А тут дедушка Карпа забеспокоился. Угланы-то, вишь, к нему прибежали:

— Пусти, дядька, к себе ночевать, а то нам без папаньки страшно в избе.

Стал Карпа присматриваться, все как есть выглядел. Пришел к братану:

— Чего с угланами в избе не ночуешь?

— Да жарко, брательник, там, душно. Мне на сквознячке поспать охота, а за ребятишек беспокоюсь, чтоб не застыли.

— Пошто ты, Яков, в амбаре ночуешь, а ночью там у тебя разговор слышать? Али кралю себе завел, пока Наталья на богомолье? Гляди, не дело так-то!

— Да чист я перед женой, Карпуша. А с угланами и сам знаю, да ничего уж поделывать не могу. Заморока какая-то. Как ночь, так и тянет меня в амбар невесть какая сила. Что ж делать-то, присоветуй, брательник. Тебе ж многое открыто.

— Сперва расскажи мне все без утайки. А там и решать будем, чем помочь можно.

Все, как было, рассказал Яков, ничего не скрыл и сомнениями своими поделился. Задумался Карпа, ему хоть и многое известно было, а тут странным всё показалось.

— Надо, Яков, испытание сделать. Та это Наталья или только прикидывается. Есть у меня ещё в склянице снадобье, не все израсходовал, вот и попробую вызнать, с кем ты там по ночам-то шепчешься. Только один уговор: слушайся меня во всём, не перечь.

На том и сговорились. Приходит Карпа в амбар под вечер. В сено зарылся, расположился со все-ми удобствами. И мягко ему, и тепло, чуть не задремал. И слышит сквозь дрему: разговаривает кто-то. Прислушался: один голос, точно, Натальин, другой — Якова. Решил он глянуть. Смазал левый глаз снадобьем, зажмурил его. Из-под сена выпростался, смотрит: и, верно, она. А левый глаз открыл — у Натальи над ушами рожки прорезались, а ноги легким пухом поросли, как у козочки молодой. На ногах-то, слышь, копыта. Чуть не заорал Карпа со страха, но сдержался. Дальше-то ему и вовсе противно стало, как она Якова обхаживать стала. Ладно бы мужик с бабой, а тут такое.

Поутру пришел к Карпе Яков.

— Ну, что видал, сказывай, не томи уж меня!

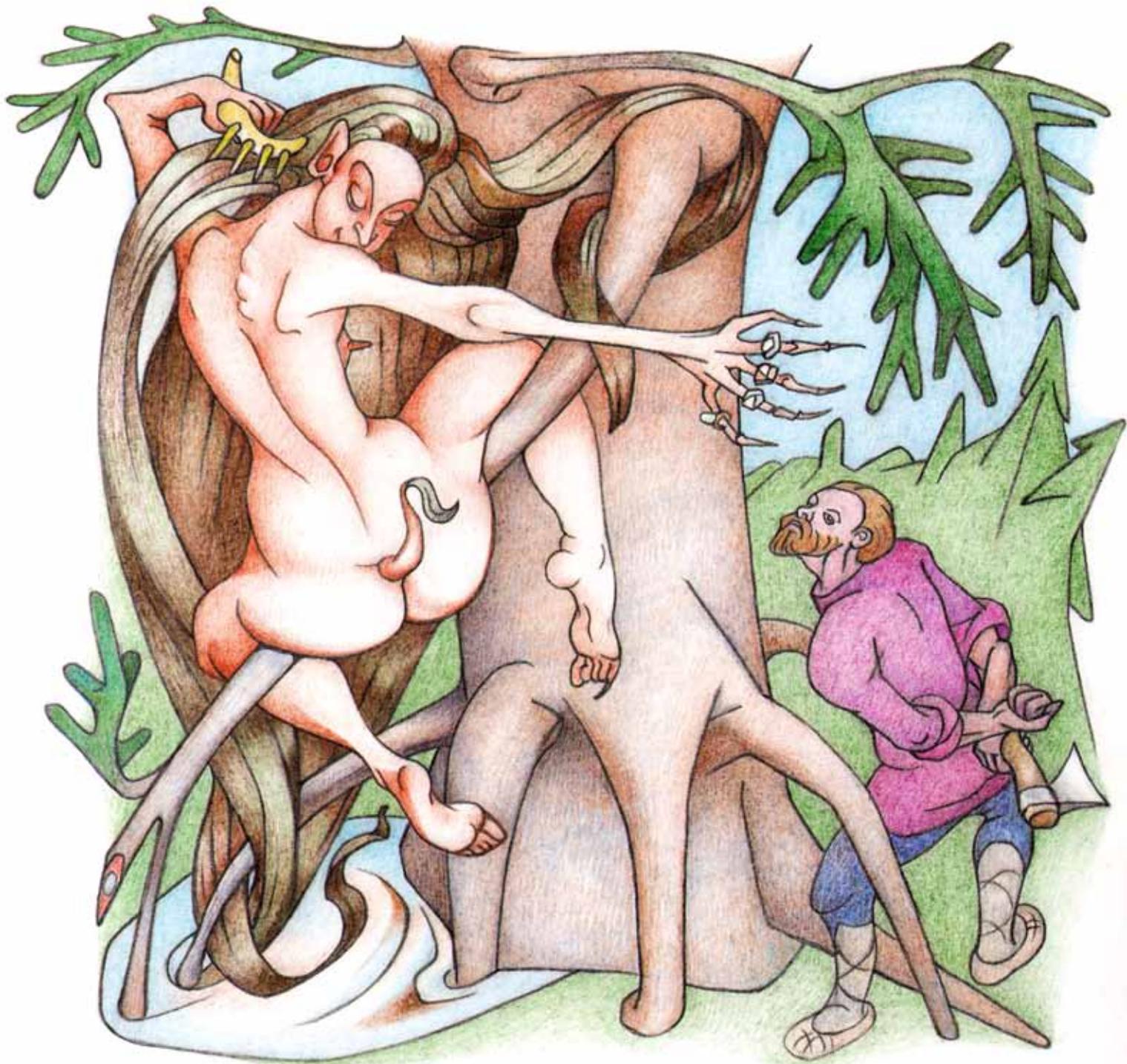
— Ох, не ладно у тебя, Яков, ох, не ладно. Зачем ты, Яков, признал лешачиху? Зачем ты к ней прислонился? Добро бы дурной был, али еще какой несуразный. Как ты её с Натальей-то смешал? Она ж далеке, ей, почитай, только на лошадях с неделю до дому добираться, а пешей и того поболе. Ох, Яков, Яков, зачем ты признал лешачиху?

— Что ж делать-то, Карпуша, подскажи, выучи. Не дай пропасть христианской душе. А то ведь всех загублю: и себя, и Наталью, и детишков. Может, к батюшке сходить, покаяться?

— Оно, конечно, и к батюшке сходить можно, вреда от этого не будет. А дале так поступай: ходи и всем подряд о лешачихе рассказывай, это ей хуже всего. И в амбар больше ни ногой.

Так Яков и поступил. Рассказывал, хоть и стыд его заел, каждому встречному-поперечному, на амбар замок навесил, детишкам велел с собой на ночь на печь ложиться. Ребенки, они безгрешные, лучше всякого от дьявола оберегают. А тут уж до Натальиноного возвращения недолго осталось.

Раз пошел Яков по кони на Верхний луг. А идти как раз через Кривой лог понадобилось. Место это бесовское. Там людям и по сию пору сатана вержит. Вон, у меня внучка рассказывала. Ехала она верхами, это уж летошним годом, мерин у неё добрый был, по кличке Лимон. Впереди-то ещё парень скакал на Тонком, тоже хороший жеребец. И вдруг, говорит, из Кривого лога как дымок поднимается, и огоньки засветились, на папиросные похожи. Лимон-то захрипел, брыкается под ней, чуть не сбросил Людмилку. А потом как кинется в галоп, моментом Тонкого достал! Дак с той поры мерин совсем дурной стал: как завидит овражину эту в Кривом лугу, сразу в галоп переходит, узды не слушается. Скоро его на колбасу отправят, вот Людмилка у меня убивается. Яков через этот лог и шёл. А тут, как из-под земли, — лешачиха. Присмотрел-



ся Яков: та самая, что на ёлке с ним разговаривала. В сарафане, сапожках сафьяновых. Только сарафан тот насквозь просвечивает. Лешачиха всем телом вихляется, все добро свое наружу выставляет.

– Ложимся прямо здесь, Яшенька. Вы уж соскучились по мне, чай. На свидания-то не являетесь. Неуважительно себя ведёте.

– Да не нужна ты мне, у меня вон жена имеется.

– Ой, да что же вы так, Яшенька. И вправду не нужна стала? Давно ли вы меня целовали-обнимали? Али забыли все? Ложись, говорю, здесь ночевать будем! А после того я уж задавлю тебя, любезник мой. Тело твое спалю, прах по всей земле развею.

Видит Яков: худо дело. И молитва, и крест не помогают. Лешачиха уже и дров наломала, костер сложила. Пыхнул он так, что дым к звёздам понесся. А тут пожарка недалече у нас есть. И тогда она стояла. Нарядчики, вишь, увидали дым-то, вот и вдарили в колокола. Лешачиха, как услышала звон колокольный, зашипела змеёй, сругалась по-матерному и пропала. А Яков обратно в село ушел, к братану сразу подался. Карпа его выслушал, задумался.

– Крепко она тебя окрутила. Так просто и не избавишься. Но ты, Яков, не печалься. Сделай так. Из крестика нательного пулю отлей, возьми ружье, которое с дула заряжают, а как снова встретишь лешачиху, стрели ей прямо в грудь противу сердца. Только помни, что сердце у нее не слева, а справа бьётся. Ежели точнехонько попадешь, она отвяжется.

Так Яков и поступил. Зарядил ружьё, приготовился и опять в Кривой лог отправился. Только до овражины дошел, лешачиха тут его и поджидает.

– Попался ты мне теперь. Не уйдёшь, проклятый. Щас я тебя давить буду.

И снова, слышь, костер готовит. Тогда туман в овражине скопился, с пожарки дыма-то и не увидали б. А так, кроме колокольного звону, ничего не боится сатана. Яков ружьё на руке прикинул да и стрелил прямо в грудь лешачихе. Взвыла она дурным голосом, так что Якова чуть не вывернуло, грудь у неё разлетелась на мелкие клочки. Посмотрела спокойно так на Якова и говорит:

– Догадался ведь, сучье отродье, научили. Так бы я тебя съела за то, что дарами нашими побрезговал. Но, гляди, не тебе, дак семье твоей ещё и не то будет!

Сказала так и пропала, будто и не было её.

С той минуты совсем не стало покою Якову. И без того хлопот полон рот. Как дурной совсем стал – сидит у окошка, как минутка выпадет, так думает, что бы такое сделать, чтобы целым остаться. А тут углан вьется и вьется вокруг.

– Батя, сделай мне вертушку, чтоб крутилась. Бать, ну сделай! Вона, у Миньки есть, у Ваньши тоже отец наладил. Да такие баскущие.

Злость на Якова как волной нахлынула.

– Пошёл ты к лешему, Сенька! И без тебя тошнехонько.

Сказал и дальше задумался. А ближе к ночи хватились — нет Сеньки нигде. Стали спрашивать у угланов. Они говорят: мол, Сенька к лесу пошел, но без лукошка, без силков. И все, говорят, молчком да молчком. Они уж его окликали, а Сенька не отзывался. Тут Якова как громом поразило — сам же парня к лешему отправил.

— Моя вина в этом. Сам же родное дитя со злости и отдал! Как же жить мне теперь на белом свете, как людям в глаза смотреть?

А Карпа его утешает. Есть, вишь, время такое в сутках, когда дитя свое можно лешему неосторожным словом отдать. Вот в такое время, видать, Яков и обмолвился. А леший тут как тут — он под окошком укарауливал, Якова за язык тянул. Так и увёл углана.

Карпа велел Якову подношение собрать лешему и отнести на пенёк на той самой поляне, где он его верхом на корове встретил. Взял Яков четверть вина, осьмушку табака, краюху хлеба, в тряпицу красную атласную завернул и отправился. Пока шёл, всё передумал — сердце изнылось по сыну да по Наталье, от неё к тому времени уж давно вестей не было. Оставил подношение на пенёке — тряпицу расстелил и разложил все на ней, как Карпа учил. И стало ему любопытно, что дальше будет, вот и спрятался в кустах. Ровно в полночь пришел давешний мужичок в армяке и шапчонке, обнюхал всё, обследовал да угощенье на траву и вывалил. Потом на пенек уселся, достал сучок изогнутый из кисету — вроде как трубка, мохом сухим её набил — сидит курит. А сам глазом на четверть всё косит да косит — уж больно охота. Но только прикоснулся, приходит средний брательник, за шиворот хватает и в чашу утягивает. Понял Яков, что угощение у него не берут, не хотят парня возвращать. Вернулся вновь к Карпе.

— Не приняли они подношения, Карпуша. Что же дале делать мне? Есть надежда, нет ли?

— Надеждой живи, Яков, она да терпение все в жизни человека перемелют, перетрут. Сам леший теперь тебе знак должен подать, что с парнем будет.

Так оно и случилось. И дня не прошло, бегут с реки бабы, которые бельё мыли.

— Яков, Яков, бежи шибче на речку! Там Сенька твой в колодине приплыл с верхов!

— Да живой ли он, бабы?

— Ой, Яшенька, страшную весть тебе принесли. Не дышит, не шевелится парень.

Кинулся Яков на берег. И верно — из реки гробик вынесен, вода с боков еще не скатилась. А в колодине Сенька вытянулся, задеревенел он весь уже. Только подумал так Яков, внутри у него голос Наташин шепнул:

— А он и есть деревянный. Тебе его леший назло подбросил, а живого прячет у себя в зимовье.

Схватил Яков топор — в щепки куклу изрубил. А тут и Карпа на берег приходит.

— Правильно, — говорит, — Яшенька, делаешь! Не давай лешему себя за нос водить. Упорный будешь — Сеньку живого домой вернешь!

Старухи уж Сеньку в трубу печную гаркали, тряпочки красные по всему лесу развесили для лешего. Он, слышь, любит красное-то. Потому так и подносили. А Яков в церкву собрался, мо-

лебен заказал по сыну, но не по мертвому, а по живому. Это он правильно поступил, а то разное случается. Вон, года два назад у нас было. Тоже мать девку свою обругала: «Унеси тебя лешак!» Дак леший и увел, и никаких ведь следов найти не могли, снегу навалило столь, что двери каждое, почитай, утро отгребать приходилось. Всё тогда родители перепробовали — и подношения делали, и в трубу гаркали и Богу молились. А потом мать поехала в район, церква-то там у нас. Стала молить, чтобы хоть косточки девкины вернул дядька лесной. Так и получилось. Снова как пошли искать, у фермы нашли. Только она уж замерзла, неживая была. Её козырьком снежным у самой стены завалило, вот и задохлась. А ведь как просили, так и получилось. Выкинул им леший косточки, хотя и живую мог вернуть. Тоже с соображением делать надобно.

А по Сеньке молебен тогда по живому служить стали. И в тот же день его за околицей увидали: ходит вокруг деревни, а войти не может. Дед Карпа совет дал на кресте его привести, на гайтане от крестика нательного. Это тоже хороший способ. Как-то раз у нас два мужика с покосу возвращались, видят: у Кривого логу баба в красном сарафане с цветами черными сидит на пеньке и воет. Решили они проверить: человек или чертовка. Ладятся на неё крестик накинуть, а она все пятится. Знать, что лешачиха была. Леший её прибил за повинность какую, вот она и выла.

На Сеньку тоже крест накинули, еле в избу затащили, он все порывался дёру дать. А как опамятовался, рассказывать начал:

— Я с дедушкой всю неделю ходил, с тем, который летошним годом помер. Он ничего, ласковый. Мы с ним ходили по деревням по пирушкам. Мужики как напьются, мы все хорошее из тарелок съедим, а они-то нас не видят. Наплюем в тарелки-то, вот они нашу плевотину и едят и нахваливают. Ещё дедушка заставлял меня в лесу коров доить. Привяжет ее лычком к дереву, а я за сиськи дергаю. Вот молоко пили. Потом говорит: «Тебя уж в трубу гаркают, тряпочки вон развесили по лесу. Не пойдем в деревни больше». А в лесу-то голодно. Стал я у него поесть просить. Он мне лепешку дал. «На, внучек, поешь». Я лепешку-то разломил, а там говно коровье. Орехи дает грызть — дак они козьи горошки, не будешь же такое исть! Если б не ягоды, совсем бы с голоду окошел. А потом привел меня в поле, под зад коленком поддал и пропал, будто и не было его вовсе. «По тебе, — говорит, — уже и молебен отслужили. Догадались ведь, гады! Отзынь от меня! Пшел!» Вот так я к деревне и вышел.

Через какое-то время Наталья вернулась с богомолья. Послушала, что без неё дома делалось, закручинилась.

— Это, — говорит, — мне наказание. Не любят они там людей просто так отпускать. И через твою, Яков, встречу с лешим тоже досталось горя. Ну да ладно, живы будем — проживем.

Оно и верно — ребятишек вон подымать надо. Наладилось как-то у них все, отвязался от Натальи нечистый дух. Но недолго так-то прожили. Яков много старше был, вот и не дал Бог подольше вместе потешиться. Как Наталья овдовела, ей, почитай, неполных тридцать годков

исполнилось. Баба она видная была, сватались к ней не один да и не двое. Всем отказала, одна дядьев моих и тёток подымала. Да и то смех: младшенький-то дядька, почитай, еще в штаны пысался, когда я робить за взрослого начал. Вот и любила Наталья меня как старшенького сынка.

А я тогда на лесоповале робил, и вот занемог, грыжа, говорят, образовалась, хоть сам её режь, проклятущую. Фершал и так покрутил, и сяк.

— Медицине, — говорит, — ваша болезнь не-подвластна. Вам в городе жить с такими организациями надо, чтобы не надрываться. Ничем не могу помочь и поспешествовать.

Такой важный фершал, усаый. Плюнул я и пошёл по старушкам. Они меня и в бане правили, и на воду наговаривали, пичкали невесть чем — и хоть бы малехо поправили, ещё тяжельше делается. Совсем занемог тогда. А Григорий в ту пору еще жив был. Он меня к Наталье и направил.

— Сходи, — говорит, — может, и подмогнет. Так-то она не пользует, нет ей на то разрешения, а по-родственному, глядишь, и согласится. Только ты ей скажи, чтобы меня позвала. Без меня-то она навряд управится.

Так и случилось. Пришел я к Наталье. Так мне у них в избе понравилось. Полы до белого выскоблены, половички тканые, на стенах картины — тётка их сама вышивала. Чистенько все, опрятно, так, почитай, и в городе не всегда бывает. А на голбичной двери лев нарисован. Он, правда, на собаку больше смахивает, но видать, что лев с гривой — Яков покойный его еще выводил. Тётка Наташа меня за стол усадила, попотчевала чем Бог послал. А меня крутит так, что не усидишь.

— Что с тобой, Егорушко? Чем мает тебя?

— Ой, тётушка, худо мне. Так прихватило, что и не утерпишь. Фершал лечить не берётся, бабушки не понимают. Грыжа, говорят, только вот я сомневаюсь.

— Не грыжа это, Егорушко. Другое, пострашнее всех болезней медицинских. Дай-ка посмотрю тебя хорошенько.

Посмотрела она мне в глаза внимательным образом, а они у неё ласковые, как у Богородицы пишут. Посмотрела, головой покачала.

— К земле ты, Егорушко, приговорённый. Жизни на самом доньшке осталось. Спасать тебя надобно.

— Кто же возьмется, тётка Наталья? Всё ведь уже перепробовали. Может, ты попробуешь?

— Помогла бы я тебе, Егорушко. Только зарок я дала страшный, что ни сном, ни духом, ни единому человечку. Как бы мне самой в землю не уйти. На кого детишек оставлю?

— А мне Гриша велел сказать, чтобы одна, без него, и не бралась.

— Ну, коли так, веди ко мне Гришу, а я пока подготовлюсь. Мне же, Егорушко, многое известно. Я ж у банника такое познала, что простому человеку и выговаривать даже страшно.

Привел я Гришу, а у Натальи всё уже налажено. Свечечка с божницы, блюдце с водой. Ждёт только, что старик скажет.

– Ты, Наталья, не бойсь, правь племянника, а я уж за тебя постою, чтоб ничего худого не случилось.

Уложила тётка меня на пороге, блюдечко на грудь поставила, воды в него налила и наговаривает. Вот сколь лет прошло, а я все до словечка запомнил.

Стану я утром рано,
Благословлюсь я, перекрестясь,
Умоюсь я ключевой водою,
Утрюся я белым полотном.
Выйду я из дверей в двери,
Из ворот в ворота.
Выйду я на окиян-море.
На окиян-море стоит светлица,
В этой светлице сидят три девицы.
Оне шьют шелковую ризу
Шелковой ниткой, булатовой иглой.
Этой ризой закрывать раба Божьего Егора.
Не урочься, не прикорься
Ни от черных, ни от черёмных.
Ни от девок-простоволосок,
Ни от бабок-шлюкоок.
Девкам-простоволоскам – камень в зубы,
А бабкам-шлюкам – соль в глаза!
Запрестань же, Господи, за раба Божьего Егора!
Закаменей его болячка крепче камня,
Крепче стали, крепче кости.
Аминь, аминь, аминь, аминь!

Тут тётка Наталья по-мелкому так закрестилась, на водицу дунула, будто пенку сдула, и дальше зачастила:

Будьте мои слова не лепки, а крепки.
Будьте мои слова крепче булатного камня.
Закрываю я эти слова
На тридцать три замка золотых,
На тридцать три ключа золотых.
Бросаю я эти ключи в окиян-море!
Наверх не всплывайте, песком засыпайте!
Аминь, аминь, аминь, аминь!

У меня уж в глазах помутнело, язык отнялся, только тепло по всему телу пошло. А Наталья свечку топит и воск в воду льёт. Льёт и приговаривает, только вот не упомяну, что. Вылила воску изрядно, так, что пластиночка образовалась, достает и мне показывает.

— Чего, Егорушко, видишь?

А пластиночка, как нонче телевизор, — оживает в ней что-то. Издаля надвигается страшный чей-то облик, все яснее и яснее делается. Сидит за столом мужик, репу сочняет. Присмотрелся: рубаха расшитая с костяными пуговицами, стол скатёркой накрыт, на ей зеркальце расположено. А в зеркальце-то — мать частная! — Николай Венедиктович. Не сдюжил я и заорал:

— Ты ж помер уже, окаянный! За мной с того света пришел? А тётка пластиночку перевернула быстренько.

— Сидит в тебе порча, еще Николаем Венедиктовичем запущенная. Он хоть и помер, а порча его осталась. Зри дальше.

Стала она пластиночку перетапливать, другую вылила, а в ней тётка Шура сидит. Платочком по-кержацки повязана — так только она в нашей родне нашивала. Запон на ней рабочий, а что делает, не углядишь.

— Тётку Шуру вижу, сидит себе, занимается чем-то.

— Вот и ещё порча в тебе, Егорушко, нашлась. Ты к тётке прошлым летом ездил, вот она и посадила.

— Дак что ж они, подлые, тётя Наташа, своих-то портят?

— Так им на роду написано. Ежели добрые с человеком отношения, они тут и испортят. А ругайся с колдуном-портуном, дак тебя и в жисть не изведёт, сколь не тужься. Давай, Егорушко, дальше глядеть. Зри глубже.

Снова вылила пластиночку, показывает. А в ней все требушинка да требушинка. Видал, поди, как поросят по осени режут, дак на снег требушинку вываливают, чтобы перебрать. Вот так похоже и получается. Сказал я это Наташе.

— Всё, Егорушко, нет в тебе больше порчи другой. Это и слава Богу. С двумя-то я быстренько управлюсь. Баньку сейчас протоплю и ласково, потихоньку выведу твои болячки.

До бани-то, не помню, как доковылял, — совсем скрутило. А Наташа мять меня не стала. Водичей тёплой окатила, веником потёрла, тут мне полегчало. А Гриша встал у каменки, чело иконой закрыл. Ох, не дай Бог, узнал бы кто об этаким, несдобровать тогда Грише! А икона у каменки вдруг зашевелилась, заходила. И чудится мне, как архангелы огненными мечами с кем-то рубятся. А потом вдруг — всё! Встала икона, и меня сразу отпустило. И легкость во всех членах появилась — какой хошь камень с дороги сверну. Тут Наталья говорит:

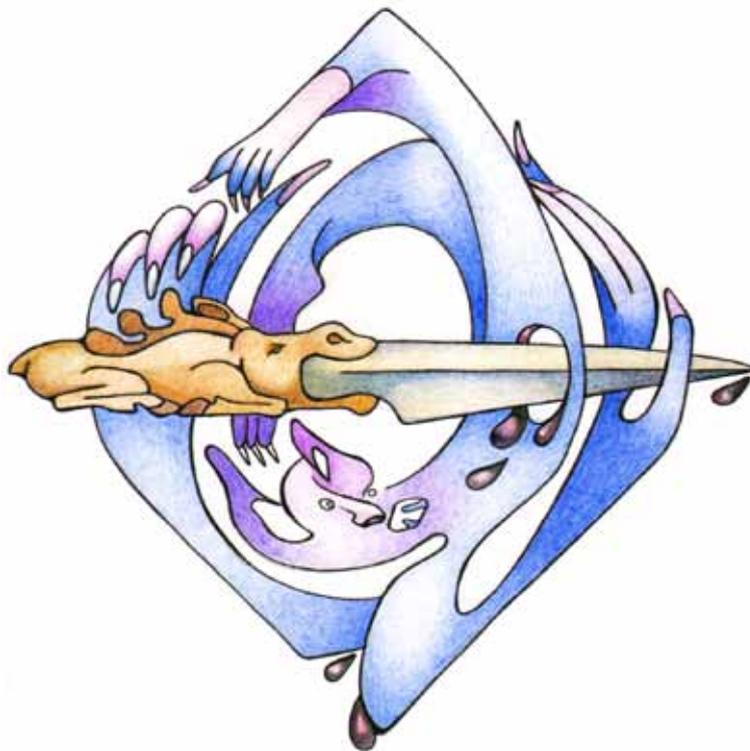
— Запомнил ли, Егорушко, слова, которые я выговаривала?

— Всё, тётя Наташа, из слова в слово. Кажется, ночью подними — до словечка упомяну, не собьюсь.

– Не дело это, Егорушко. Забудь их поскорее. А коли не забудешь, скажешь кому ненароком, мне за то наказание будет страшное. Самая беда придет, и тебя не помилует. Ты уж, будь ласков, до смерти моей не поминай их. Потом – можешь.

– Спасибо тебе, тётка Наталья! Просьбу твою твёрже камня, твёрже железа запомню.

Тётку-то уж схоронили, сейчас всё рассказывать можно. Вот ушёл человек, а память о нём осталась. И не думаешь вроде о нём, а нет-нет да и вспомнишь. По Якову вон какая поминка – дома, которые он ставил, по сей день стоят, даже не покосились. А в избах заборки да двери голбичные. Такие карнизы и наличники ажурные только он и умел выделывать – их от нас в музей увезли. Вот так, молодой человек.





О том, как Якуня коров пас, а Гриша через то чуть колдуном не заделался

Раньше мы жили не так, как теперь. Раньше у каждого на дворе скотина водилась. Это только уж у самого непутящего заботушки не было. Вот стадо большущее и собирали. Ну, коли стадо большое, — дак пастуха нанимали, такой обычай водился. Это только у верховских коров одних отправляли. Я вон, когда жил там, помню: хозяйка поутру коровушку выганивает и приговаривает: «Иди с Богом, кормилица». Так с Богом и паслись. Там уж такой говорок пошел, что коров, мол, Никола-угодник пасёт, оберегает их от зверя лютого.

А тут такой случай приключился. У мужика одного медведь корову задрал — требушинку выпустил, бок объел, а остальное сушняком завалил. Насилу мужик нашел её, заваленную. Нашёл да осерчал сильно: «Плохо, — говорит, — Никола-угодник пасёт. Для человеческой паствы из него пастух хороший, а для скотины — никудышный. Наказать надо святого угодника!» И ведь наказал. Икону с божницы снял, в телегу на дворе поставил да и отходил вожжами. Ох, визгу было! Баба ему в волосья вцепилась, блажит на всю деревню, а мужику, что с гуся вода, — всё нипочем. Грех, конечно. Но не наказал его Господь, под свою защиту взял — может, и верно Никола-угодник провинился. Ведь за святотатство да богохульство наказание быстро приходит.

Гриша, опять же, сказывал. Он по святым местам много ходил, всякое повидать пришлось, Было, говорит, раз в монастыре, то ли у нас, то ли на югах где-то, на Дону,— уж и не упомню. Раньше, вишь, монахи не только по кельям жили за монастырскими стенами, но и странники встречались. Нищие. Ежели нищей братии подашь, то один грех тебе на том свете простится. Странника считалось грех обойти, не покормить, приюту не дать. А тут такое дело. Пришел одинов странствующий монах в монастырь, он за веру свою пострадал, вот и пошёл по земле. У ворот постучался, поклоны земные отвесил, всё, как и заведено. Пустили его братья за порог, а там пожадничали — ног не обмыли, в трапезную не провели, где-то поза дверями оставили. Странник разобиделся — тоже с устатку кушать охота. А со злости да обиды выколол шильцем глаза у Богородицы с иконы. Тут же гром разразился, помутнело за окном. Прибегают братья к нему, а монах застыл — как закаменел. Стоит — и ни с места, язык навовсе отнялся. Глянули монахи — Господи, Господи!— глазницы у Богородицы пустые, а по щекам слеза кровавая стекает. Пали они на колени, молиться стали, свой и чужой грех замаливать. Господь, он милостив, прощает. А тут прощения не дал. У самого монастыря погода не на шутку разыгралась, а за оградкой ведро, солнышко светит, как очертил кто-то постройку. Настоятель-то тогда в отлучке был, вот монахи и растерялись. Неделю молились, поклоны били — все прощения вымаливали. А странник — как стоял, так и стоит. Решились тогда его из пола вырубить. Принесли топор, стали доски тесать. А из-под топора-то кровь брызнула! С ней сила из монаха стала по капельке выходить. Поостереглись тогда. Тут и настоятель вернулся. Выслушал их, на странника посмотрел и распорядился, чтобы монахи по всем святым местам разошлись — грех замаливать. И на Афонскую гору поднимались, и ещё где-то были — запомнил я. Как месяц минул, отпустило странника. Уложили его на постели белые, руки на груди сложили — сам он и пошевеливаться не мог. А перед тем, как дух испустить, заговорил: «Жить надобно в мире и согласии с самим собой — так мне там повелели. Только тот познает рай небесный на земле, кто не гневаясь проживёт. Гневливые да богохульные, они самые грешники и есть». Сказал так и помер. Его в оградке монастырской схоронили, каменный крест тяжелый доставили. Народ по праздникам на могилке собирался, так и непонятно было, не то святой, не то грешный. Сейчас-то уж никто и не упомнит, а молва о нём все еще идёт.

Так что мужика верховского, видать, простили, хотя и грех на нём тяжкий был. А обычай страннику уважение оказывать у нас и до сего дня в силе остался. Только разные людишки пользуются этим. У нас ведь и кержаки есть, те, которые другой веры придерживаются, челдоны, по-нашему. А тут девки-студентки к ним приходят. «Ой, да какие у вас иконки хорошие, да книжечки старинные. Не дали бы нам? Мы, — говорят, — для науки, чтобы не пропало». А старикам-то ведь неведомо, какая такая наука книжками да иконками занимается. Отказали они, больше и на порог пускать не стали. А на следующий день старица с посохом в ворота стучит. Сама в рубище, волос, как крыло вороное, только седина серебрится. Приняли ее ста-

рики, уважение, почёт оказали. Бабка её в баньку повела с дороги. Та, слышь, в предбаннике крест медный сняла с шеи, напросилась, как и положено. А после бани: «Я, — говорит, — по деревням хожу, людей в истинную веру обращаю. Уж многих обратила. Одно плохо — старая-то вера, она всё по книжкам писана, а книжек недостаток. Вы уж, коли есть, не поделитесь ли для святого дела?» Ну, старики рады стараться — выложили все добро на стол. А странница книжки полистала, три штучки отобрала. «Эти, — говорит, — сгодятся. Мне-то самой уж не унести, вы девкам завтра отдайте. Я девок завтра за книжками пришлю». Сказала — и за порог. А наутро давешние девки и пришли. Старики им всё и отдали.

Вот как так? Зачем такой обычай? Был бы Гриша сейчас живой, отругал бы он стариков. Он, вишь, у нас как святой почитался — с каждой болячкой, с каждой бедой к нему шли. А ведь многое он в жизни своей повидал, с разных сторон её пощупал, многое ему открыто было, что нам и не снилось. Помнишь, поди, я тебе сказывал, как он на колдуна хотел выучиться, как распятие святое его от этого дела отвернуло. У этого его хотения тоже своя история есть. Он ведь не из богатеньких, жизнь свою в людях начинал — по найму робил, а сызмальства в подпасках у Якуни. Тогда-то его и зацепило.

Якуня, говорит, психоватый был — волосья сивые из-под шапки лохмами во все стороны лезли, а как заговорит — будто кто его за язык потягивал. Он у нас и жил, в нашем конце. Избу-то уж не рубил — пришлый был человек. В бросовом сарае устроился, откупил его у хозяев за три рубля. А как совсем студёно станет, наряжался обутки шить. Пока семью обшивает, так и живёт в избе на всем готовеньком. Вечеру соберёт вокруг себя угланов и давай складно так сказывать про Илью Муромца, Егора Святибора — богатырей наших русских, как Егор крышкой гробовой накрылся да там и дух испустил. Сказывал, как Илья-крестьянский сын ворогов на Руси святой крушил. Интересно было, слушаешься. Вот Гриша по малолетству и тёрся возле Якуни. Тут-то Якуня и приметил углана. Сходил, родителям поклонился, чтобы в обучение отдали пастушескому ремеслу. Те уж не супротивничали — семья большая, семеро по лавкам, а кормиться не шибко хорошо приходилось, коровёнка-то одна, трудно без подмоги. Так и повелось: куда Якуня, туда и Гриша. Неразлучные были друзья, хотя и не все секреты сразу пастух своему помощнику открывал.

У Якуни, вишь, дудка такая была, он её трубой ерихонской, как подопьёт, называл и за- всегда, когда гулял, по-матерному молился и в трубу дудел. Делал он её тайно, на всю жизнь, запасной-то уж не было. Сказывали, что к лесному хозяину на поклон ходил, чтобы первейшую осину во всем лесу отобрал. Трубу-то из бесовского этого дерева делать положено, чтобы две вершинки у него были да одна молнией расщеплённая. Тогда, слышь, сатана в неё вселяется. Но пастух сам трубы опасался, вот берестой и обматывал. Видал ведь: у нас корчаги полосками обвиты. Это не только для прочности, но и для сохранения от нечистого духа: только молитвой и крестом посуду обережешь.

Вон у меня было. Сергунькины, Коляновского внука, на дальние покосы отправились, а его у нас оставили — углан ещё был, с собой брать невозможно. Вот мы и остались с ним вдвоём домовничать: со скотиной управляться, по хозяйству там делать, что надобно. Матушка мне наказала с вечера муки для квашонки насыпать да растворить на утро, чтобы хлебушек пекчи. Я, как велено, все исполнил, и со скотиной быстро управилась. Ночевать-то ещё неохота, вот я и вздумал сдуру подшутить над Сергунькой, он чуть помладше был. Спустил с вышки к самому окошку нитку и биток к ней привязал. Это мы в бабки играли, у меня биток знатный был — я его свинцом от дроби залил. Привязал так для ветра — он дунет, нитка раскачивается, вот биток и стучит, и трется, и колотит в окно. А ближе к вечеру я Сергуньку рядом посадил и зачал страсти разные рассказывать. Ох, я и постарался. И про лесного хозяина, и про русалку, которая парней в воду затаскивает, и про банников, как они кожу с человека сдирают. А ещё сказывал, как лешачиха ближе к ночи к избам приходит — в окна, двери стучит, беду накликает. Сама, говорил, она голая, черная, титьки аж до пояса болтаются, а в хайле огонь горит. Ежели к ней человек на крылечко выйдет, она его поцелует, а потом удавит волосьями своими долгими до смерти. И не нашлось ещё смельчака, который бы сладил с лешачихой добром. Сергунька со страху трясётся.

— Неужто и крест её не берёт и молитва?

— Не, — отвечаю, — она от креста и молитвы заговорённая.

А тут как раз ветер и дунул. Биток у меня как заколотит в окно! Скребёт и колотит, скребёт и колотит! Сергунька под стол полез.

— С нами крестная сила! — кричит. — Спаси, Господи! А я ещё пуще страху подпускаю:

— Лешачиха! В хайле огонь, в руках кочерга! Спасайся, кто может! Мне то смешно, а Сергуньке не до смеху. Сам как плат, стал, уж и креста толком на себя наложить не может. Тут я смекнул, что вовсе так парень от ума отстанет.

— Хватит, — говорю, — вылезай, Сергунька. Ушла лешачиха, никого уж за окном нет.

А стукоток-то продолжается.

— Кто ж тогда стучится? — спрашивает Сергунька.

— Да это я биток на нитку привязал.

Ох, как он осерчал! Пожитки собрал, в свою избу лыжи наострил. Еле удержал его. Да и то, если б про лешачиху не вспомнил, утёк бы от меня.

Так, считай, до ночи дружба у нас и расстроилась. Ночевать-то на полатах порешили. Только я перед сном заставил Сергуньку в голбец слазить, квашонку вынести, чтобы дошла к утру. Он побурчал, да послушаться не посмел — признал-таки за старшего. Вот улеглись мы с ним, в избе уж темно стало — ветер непогодь натянул. Стал я Сергуньке сказки рассказывать, да опять на леших-то и свернул. Сергунька не верит теперь:

— Выдумываешь всё. Вон как про лешачиху набрехал — до сих пор поджилки дрожат.

— Да вот те крест, Сергунька, ни словечка не соврал. Всё как есть рассказал. У многих уж такое бывало. Вон, у Пантелея баба. Он в солдаты ушёл — дак на второй год, считай, лешачиха навывла. Пришла под окна и выла до утра. Дак через месяц известие получила Пантелеиха, что мужика её на манервах жизни лишили.

— Не боюсь я твоей лешачихи. Не возьмёт она меня на пече, сам знаешь. Только в избе покажется, я на печку и прыгну.

— Лешачиха-то одна беда. Да человеку дьявол вона сколь напастей да ловушек в жизни строит! В голбец спустишься — дак и там нечисто. Слышал ведь про суседко-то.

— Слышал. Но суседко, он ласковый, он человека зря обижать не будет. Разве только не по нему что сделаешь.

Только так сказал, застучало что-то, зашебуршало.

— Чуешь ли, Сергунька, шебуршит кто-то в голбце?

— Чую, Егорушко. Дак это твой биток, видать, за окном колотится. Ты ж его не отвязал.

— Да вот он, Сергунька, у меня. Ты пока под столом сопли распускал, я сбегал да отвязал.

— Опять ведь шуткуешь, Егорушко. Нет у меня веры тебе ни на копеечку-медяшку. Сам в голбец спущусь доглядеть, что за каверзу ты опять подстроил.

— Ой, не ходи, Сергунька. Чую я, неладно там. Я ж муку не перекрестя оставил.

— Дак она, поди, в корчаге с берестой. Не должны её трогать.

Сказал так да с полатей кувыркком слетел. Я уж за ним не увязался — страшно было. А Сергунька дверь голбичную нараспашку — и вниз. Скатился и заорал, как режут его. Поросята так по осени визжат, когда их под нож ведут. Соколом на полати взлетел, как на крыльях. Вцепился в меня, дрожит весь:

— Ой, Егорушко, что ж мне там такое приблазнило! Ужас ведь кромешный! Спускаюсь, а тама сито само собой ходит, будто его кто трясёт. А мука-то пригоршнями сама в сито залетает. Вот и сеет так, вот и сеет.

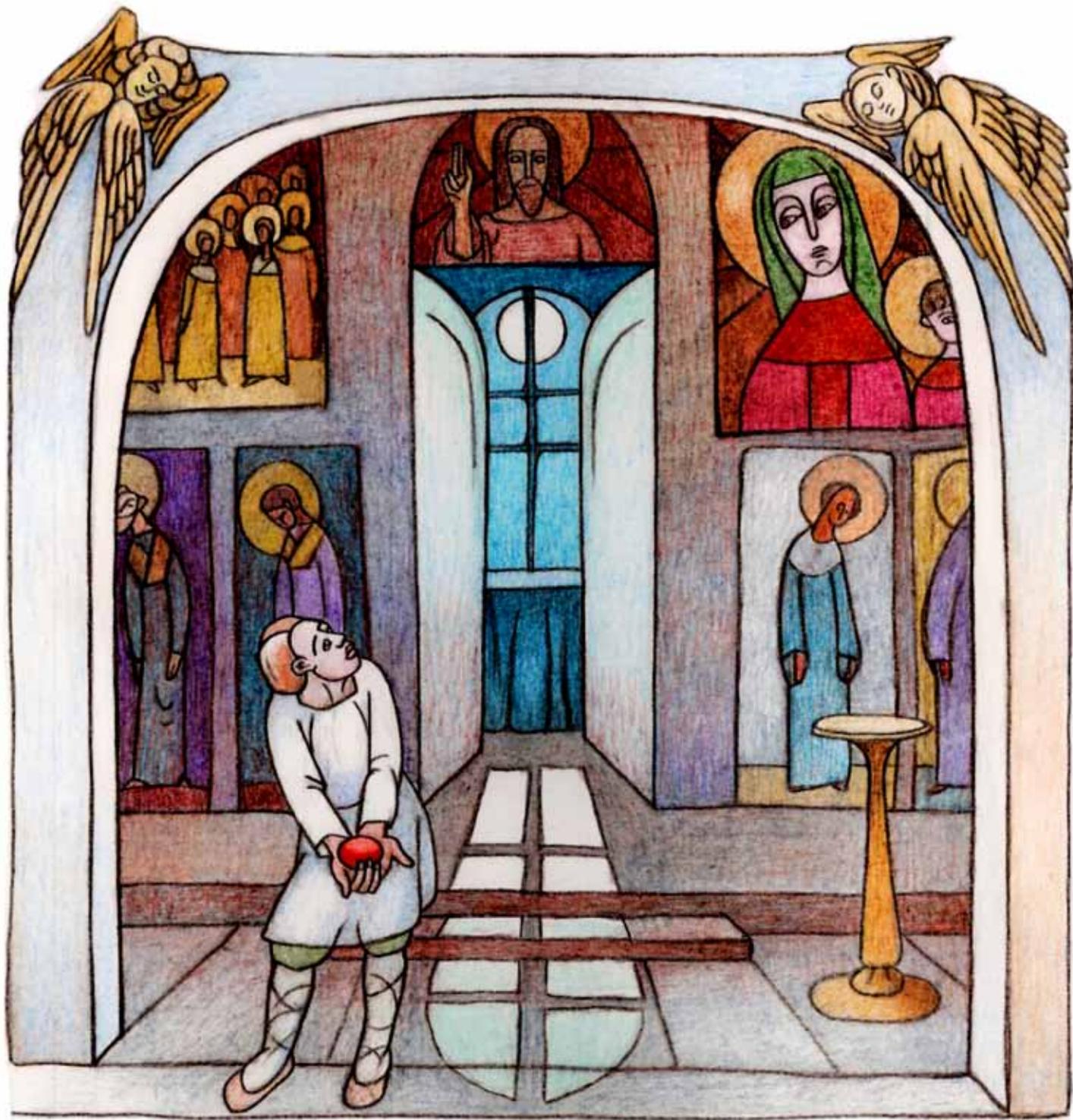
— Ага, не поверил, что неладно в голбце! Вот я муку не перекрестил, суседко и сеет её. Ничё, не боись, до нас-то он не доберётся. А муку мы утром соберём, матушка и не заметит.

— Страшно, Егорушко, в голбец опять спущаться.

— А мы со свечечкой. И иконку с божницы возьмём. Никакая сатана тогда нам не страшна.

Всю ночь Сергунька на полатах мозолился. Да и мне не до сна было. А поутру спустились в голбец со свечечкой. Глянули: мука-то закаменела вся. Её, вишь, как суседко-то просеял, она каменной и сделалась. От матушки нам тогда здорово досталось, зато на всю жизнь наука. И то польза.

Так что и в оплетённую посуду сатана заглядывает. И Якуне берёзка могла не помочь. Но трубой своей он лешего призывал. Голос у трубы звонкий — не за одну версту слышать. Коровы-то её издали чуют, вот и бегут, как пастух отрубит. Через то разные каверзы случаются. В соседней деревне, сказывают, ещё был пастух. Она-то через речку от нас, вот Якуня с тем пасту-



хом соперничал — кто больше знает. Однажды так сговорились: кто кого перетрубит. Коров как на выгон погнали поутру, пастухи встали по разные берега и трубили по очереди. Первый струбил — оба стада к нему кинулись. Якуня струбил — они через речку полезли. Так и трубили, скотину маяли до полудня, пока оба стада из воды уж и выбраться не смогли. Мужики долгонько коров из воды выводили. И ничего не сделали с пастухами тогда — нельзя их, пока выпас, трогать. Зато потом отходили так, что те едва очухались.

Это всё не по книжкам узнано, а так, жизненные факты. Гриша многое тогда с пастухом пережил. Оттого тоска его и взяла, захотелось поболее того, что человеку Господь отпустил, испытать. Раз у них с Якуней такая вышла история. На самый Егорьев день, когда скотину выгонять пора, расхворался пастух. Но ведь как заведено: какой хворый ни есть — работа прежде всего, больничных-то раньше не было. Вот Якуня и притащился к Грише на дом. Керкает, в груди что-то клекочет.

— Иди ты, Гриша, заместо меня в лес. Мне-то уж не уговориться на сей раз.

— А зачем, дяденька Якуня, в лес-то? Чего я там забыл?

— Ты, паря, не перечь. Коли хочешь, чтобы отпасли ладно, сам на договор отправляйся.

— Да с кем договор-то, дяденька?

— Это уж не твоя забота, не след тебе его имя называть. Главно, чтобы договорился, чья очередь это лето пасти. Ежели не забоишься идти, побожись, что никому сказывать не будешь о хозяине. Ни единой христианской душе!

— Знаешь ведь, дяденька Якуня, что деваться некуда. Пойду и сказывать никому не буду.

— Ну, тогда слушай в оба уха и запоминай. Завтра в полночь пойдёшь к Кривому логу, там полянка есть. В серёдке полянки пенёк стоит. Садись на него и жди, когда из лесу мужик выйдет. Только с первым, гляди, не разговаривай. И не смейся, а то быть беде. Потом выйдет повыше мужчина. С ним тоже в разговоры не вступай. А вот третий будет, высоченный, с ним и разговаривай. Он тебя спросит: принёс, мол, яичко? Ты отвечай, что да.

— Где ж я его возьму, дяденька Якуня? Из курятника?

— Яичко надо в церкви своровать, другое здесь не подойдёт. И тоже в полночь брать надо.

Не забоишься, Гриша?

— Забоюсь. Как же в церкви-то воровать? Грех ведь!

— Грех этот я на себя возьму. Мне уж разницы нет — одним больше, одним меньше. Потом он тебе скажет, как яичко делить будете. Здесь уговор такой: кому достанется, тот и пасёт. Попросит он тебя лесину завалить. Ежели ёлка будет, ссекай её комлем на полдень. Ежели осина — вершинкой на полдень. Яичко на серёдку ложить надо, а чтобы оно хозяину досталось, садись всегда с полуденной стороны, чтобы ветки тебе мешали по лесине идти. Как он яичко заберёт, по рукам ударите. Но смотри, дале договаривайся не боле, чем на одну корову, а то нам с тобой несдобровать. Ну, понял ли?

– Понял я, дяденька Якуня, понял. Только шибко страшно.

– А ты не бойсь, тебе на том свете зачтётся.

Вот и пошёл Гриша в полночь к церкви. Идёт, глаз поднять боится, только чует, что есть догляд за ним, так и свербит в затылке, так и свербит. Отбросил он страхи свои, плечи развернул, гоголем пошёл по улице. Тут как бы и светлее на улице стало. Идёт Гриша и диву даёт. Появились в небе полотнища огромнейшие – одно белое, другое красное и вроде сжелта ещё. И борются они промеж собой так, что аж полыхает всё кругом зарницами. Вот диво-то! Идёт Гриша и смекает, что неспроста это такое показывается. Предсказание божественное ему было, как дальше человеку на земле нашей жить-быть. Гриша тогда полагал: только сатане всё открыто, что с человеком случиться может. Сам-то он к сатане не обращался. Это ж только в святки, когда шуликины в полынье купаются, по улицам носятся, девки на поклон к сатане идут, чтобы подсказал, какой жених их ожидает. Он имя и распоряжается. Вон, у нас один на росстань, где осина бесовская стоит, отправились девки слушаться. Моя-то супружница будущая за ними увязалась. Обидно, вишь, стало, что другие-то не берут с собой. Пришли, шкуру коровью растянули, уселись на неё. Которая постарше всех, ожогом банным обчертилась, а хвост-то позабыла. Накрылись девки полотном беленым, слушают. Вдруг заскрипел снег, завыл кто-то, и шкура у них поехала. Ох, они перепугались! Кто-то за хвост шкуру тянет. Моя-то из-под полотна выпросталась – Господи, Господи! ужас какой! – к хвосту не то свинья, не то собака привязана, летит так, что пыль снежная аж луну застила. И несутся они по буеракам каким-то, а места все незнакомые. И тащит их к речонке. Не иначе, окаянный их под лёд запустить хотел, чтобы уж не нашли. Тут девки запричитали, закрестились, молитвенное что-то затанули. Затявкала, завyla собака эта, закрутилась на одном месте так, что девки и память потеряли. Очнулись когда, глядят: места незнакомые. Потом только признали, что это мельница старая. А уж вёрст десять от дому-то. Так к утру и добрели, изодранные все, помороженные. Слушаться моя больше и не ходила.

Это вот Кривой лог-от и есть. Гриша, пока шёл, всё дивился, какие видения открываются. Боролись сначала три полотнища, потом уж два остались – белое да красное. Тут как пыхнет! Вот красное и залило всё небо. Старики уж потом Грише растолковали, что, мол, война будет промеж двух воинств, что красное воинство верх возьмёт, но кровящи много прольётся. Так, почитай, и сбылось, хотя и за полвека предсказано было.

А покуда Гриша к церкви шёл, всё думал, где же он яичко возьмёт. Они по избам хранятся год, до следующей Пасхи, не выбрасывает их никто. Вот и непонятно: зачем оно лесному хозяину понадобилось? Старухи-то у нас пасхальные яйца на пожарах пользовали. Ежели от молнии постройка какая загорится – дак они в огонь простоквашу лили и яйцами забрасывали. И вот ведь диво – помогало, огонь-от быстро утихомиривался.

Подошёл Гриша к церкви, слушает. Тихо там, аж в ушах звенит, и дверь приоткрыта. Даже не скрипнула, как вошёл. Ступает по полу, а каждый шаг в углах отдаётся. Гулко там, пусто. Сердечко так и ёкает от страха, а идти надо. Всю церкву обошёл — нет яичка нигде. А тут опять же — Богородица. Гриша-то на неё засмотрелся, а Матерь Божия глазом на алтарь косит. Знак подаёт. Пошарил Гриша за алтарём, яичко в кулачок зажал. И кажется Грише: вроде тёплое оно, будто сейчас из рук кто-то выпустил. Принёс яичко Якуне. А тот говорит:

— У себя, паря, держи, мне его не надобно. Спрячь где-нибудь, чтобы не нашли, а то беда будет.

Гриша его на вышке в старую рухлядь и зарыл. А пока нёс, ночи-то студёные ещё, яичко руку и грело. День промаялся, — всё молчком да молчком, а вечером к соседям как бы напросился, чтобы уж не возвращаться. Мать поворчала, да отпустила.

Подошёл Гриша к Кривому логу, а ноги сами собой подкашиваются. Чудится, что страшный кто-то, хвостатый и рогатый, за штанину дерёт, идти не даёт, мягким чем-то обволакивает. Сотворил он молитву, дальше пошёл. На полянке и вправду пенёк стоит. И вот что удивительно — ночь тёмная, а тут светло. Присел Гриша, вдруг кусты раздвигаются, выходит мужичок в армяке с рукавицами за кушаком, и шапчонка у него на макушке смешная.

— Пошто в такое страшное время, — говорит, — в мой лес пожаловал, паренёк?

Тот молчит, помнит наказ Якуни.

— Какой ты, паря, неулыбчивый да неразговорчивый. Хошь, я тебя повеселю? А ну, слуги мои, подьте сюды!

Заскакали тут по полянке зайчата. Ворона их взнуздывает, верхом катается. Тут и коровушка на полянку выбежала, выменем трясёт, хвостом крутит. Моталась, моталась по кругу да и пала.

Мужик-то орёт:

— Ой, милая моя, умаялась, увалилась! Надо бы тебя полечить!

Зайчата подскочили, стали корову в бока торкать, а та не шевелится. Мужик её и так, и сяк крутит, рога ей пилой шоркать стал — ничего не помогает. А ворона как в нос клюнет — та и соскочила разом. Тут и пропало всё! Сдержался Гриша, не рассмеялся. Вдруг смотрит: деревья закачались, вихорь прошёлся. Выходит на поляну мужик здоровенный.

— Вот ты мне и попался, голубчик, — говорит. — Ты пошто у меня в лесу шишек наворовал? Говори, а не то задавлю!

Страшно Грише, но молчит, крепится. Мужик вокруг него похаживает, ручищи свои протягивает, а взять не может. Но и он пропал. Тут деревья вершинки к земле клонить стали, и странно так: ни звука, ни ветерка, травинка даже не шелохнётся, а деревья гнутся. Вышел тут на поляну громадный мужик.

— Ну, сказывай, — говорит, — зачем пожаловал.

– Я, дяденька, договариваться. Якуня-то расхворался, не встаёт вовсе.

– А уговор-то знаешь?

– Да знаю, знаю, дяденька. Вот и яичко принёс.

– Ну давай, бери топор, ссекай осинку, торговаться будем.

Гриша всё, как Якуня велел, сделал. Повалил осинку одним махом — не то сила откуда-то взялась, не то осинка такая попала. Сел с вершинки на полуденной стороне, а лесной хозяин с комля устроился.

– Ты мне, — говорит, — пять коров и бычка в придачу отдашь.

– Куда тебе, дяденька, целое стадо! Мы вон на овечку только и согласные, да и то яловую.

– На что мне ваша яловая! Лучше быка отдавайте!

– Не-ет, дяденька. За быка у Якуни шапку вместе с головой снимут.

– Ну, давайте мне тогда корову краснопёструю со звёздочкой белой во лбу. У младшего-то моего брательника, сам видел, пропала коровёнка любимая.

Тут Гриша так и ойкнул. Это ж их корова и была, одна такая во всём стаде.

– Не, дяденька, лучше двух забирай, — говорит. — Одну бери красную, другую чёрную.

Как сказал — схватил мужик яичко и пропал. Только деревья вновь вершинки к земле приклонили. Пришёл Гриша к Якуне, всё как было рассказал. А тот ругаться:

– Что ж ты, варнак, наделал! Как мне теперь перед обществом ответ держать! За двух-то коров не поздоровится нам с тобой. Да тебя по малолетству помилуют, а мне уж беды не миновать!

Но дело сделано, пора уж к первому дню готовиться. Якуня велел хворостины срубить новые, да не берёзовые или осиновые, а ивовые, чтобы их до конца лета хватило, чтобы не ломались. Пастухи, вишь, хворостиной одной всё лето управляют, невозможно их менять, нет на это разрешения. Управился Гриша, а тут и время первого выгона настало. Для деревни это праздник большой, корова-то, она кормилица, невозможно без неё прожить. Бабы во всём нарядном, мужики кушаками подпоясаны. Один пастух в рванине, одежда у него особая. Тоже такой обычай, чтоб у пастуха одежда на отличку была.

Якуня бабам наказывал, чтобы не припозднились, чтобы всю скотину разом сганивали, иначе пасти невозможно. Вот и собрали всех на огарке, хозяева по избам разошлись. Помолился Якуня, поклоны на все стороны положил и зачал коров смешивать. Ведь у каждой скотинки волоски со лба взял! Гриша во все глаза глядит — первый раз его Якуня допустил до такого, интересно ведь! А Якуня размял воск и волоски коровьи в нём замешал, вощинку ту в трубу закатал, чтобы не выпала, и пошёл стадо обходить кругом. Идёт, шепчет что-то, слов не разобрать. Вдругорядь пошёл. А тут хозяйка бежит, корову свою гонит. Заспала выгон-то да решила, видать, сбоку пристроиться. Осерчал Якуня:

– Убирайся со своей дохлятиной! Нет у меня для неё места!

Баба тоже заблажила — горластая была, злющая:

— Не имеешь такого права! Тебя общество для всех нанимало. Чтоб ты провалился, ирод проклятый!

Якуня с лица аж потемнел да и ожёг её хворостиной. Баба за руку схватилась и убежала. И с той поры она у неё сохнуть стала. Вот какая сила в хворостине была заключена! Гриша испугался.

— Давай, дяденька Якуня, — говорит, — я сам эту коровёнку пасти буду. Пусть уж ходит по боку где.

— Давай, давай, только зря это всё. Она ж теперь со всеми бродить не будет, её коровы сами не пустят.

Как сказал, так и получилось. Хоть и воевала хозяйка с пастухом, а толку никакого не было: корова одна всё бродила, вовсе показываться перестала — потерялась. Хозяйка по всей деревне стала жаловаться, что Якуня её скотину лешему отдал. Тут ей и присоветовали сходить ко старушке. Старушка поначалу отказывалась.

— Ничё, — говорит, — не знаю, ни с кем не договаривалась.

Хозяйка ей плату хорошую посулила, та и согласилась помочь выведать, куда коровёнка запропастилась.

— Приходи к полночи в избу, голубушка. Подношение принеси, я уж сведу тебя со знающим, он тебе всё про коровёнку расскажет.

Баба так и сделала. Яичек напекла, хлеба ломоть с солью, табаку завернула в тряпицу.

Приходит, а старушка и говорит:

— Спать ложись у крайнего окошка, что на улицу глядит. А я уж посодействую, чтобы у тебя всё хорошо было.

Боязно бабе, сама не рада, что пришла, но делать нечего, корову ещё жальче. Приготовилась она, лежит, ждёт. А старушка в то время печь открыла, бормочет, слова какие-то страшные в трубу шепчет. Тут вихорь прошёлся по улице. Чует баба, что дышать ей тяжелее стало, как давит кто-то. В окошко глянула: там мужик здоровущий стоит, к крыльцу прислонился. Закрестилась она наотмашь, а он осерчал и говорит:

— Ждала, звала, а сама крестисься, проклятая! Вот я тебя уже задавлю!

— Ой, прости, батюшка! Не со зла я, по глупости и маломыслию. Ты уж подскажи мне, где корова моя пропала, а то мочи нет без кормилицы жить — детишек жалко. Я тебе и гостинчик припасла. Вот, возьми, батюшка. Тут и хлебушек, и табачок, и яички. Отведай, будь ласков!

Принял мужик гостинчик, цигарку свернул, палец к ней приложил, а цигарка-то сразу и затлела. Стоит он, курит, на землю сплёвывает.

— Знаю я, где корова твоя пропала. Зря ты, баба, Якуню обидела. Он на людей злой, они ему много плохого сделали. Вот на тебе и отыгрался. Привязал Якуня твою Зорьку в самом

глухом месте. Завтра пойдёшь, дак ещё живую застанешь. Но смотри, не жилец она на этом свете. Не сейчас, так потом пропадёт, — сказал так, крутанулся на пятке, и с того места вихорь обратно по деревне прошёл.

Пришлось бабе спозаранку в лес идти. Якуня это заприметил.

— Иди, иди, — говорит, — может, что и найдёшь. Косточки там али ещё что другое.

Полдня она проходила, аукалась. Зорьку свою кликала. И вдруг слышит мычание такое жалобное. Стоит корова у дерева, а с места сойти не может, как привязана, только верёвки не видать. Так намаялась, бедная, что кругом дерева по колено землю выбродила, объела всё — ни травинки, ни листочка рядом не осталось. Привела её баба на двор, выхаживать стала. Коровато, вишь, оголодала, ей уход особый нужен. И ведь выходила! Руки человеческие ласковые многое сделать могут. Покаялась баба, Якуне рубаху вышитую подарила, прощения вымолила у него. И как подменили человека! Стал он за Зорькой доглядывать, она подобрела — шерсть лоснится, как маслом её мажут, волосок к волоску. А баба всё на людях вздыхает, что корова, мол, у неё непутящая, худенькая да молока от неё ни черта нету. Это тоже обычай такой. Нельзя, говорят, похвалиться своей женой молодой да скотиной, а то беда будет.

За скотиной, вишь, особый уход требуется. Вот я помню угланом ещё был, как корову новую на двор заводили. Тятя её в соседней деревне взял. Привели ко двору, всем семейством кругом встали. Матушка пояс на порожке тятин растянула, а за поясом скатерку новую расстелила, чтобы хорошо шла да к новому месту быстрее привыкала. Матушка корову ласково так поглаживает, уговаривает. А та башкой трясёт и с места не двигается, всё норовит обратно пятиться. Родители напугались: не иначе злые люди её от двора отваживают! Не обратно же вести скотину! А тут Гриша подошёл. Он же знаткой был, вот у него и решили узнать. Ворота Гриша осмотрел со всех сторон и говорит:

— Вы дёгтем смажьте — тогда пойдёт.

Так и сделали. И ведь помогло! Корова сразу пошла, как дёгтем ворота вымазали. Я-то — к Грише: как, мол, такое чудо случилось? А Гриша и отвечает:

— Слыхал, что коровы пуще всего медведя боятся?

— Слыхал, как не слышать.

— А что будет, ежели скотина запах медвежий учует?

— Дак побежит, кажись.

— Вот у вас так же и получилось. Хозяева-то, видать, салом медвежьим тайно ворота смазали. Корова чует медведя и не идёт. Так что уж никаких чудес. А дёготь запах перебил, он же вонючий, дёготь-от.

А про медведя Гриша истинную правду сказал. Медведь, он ведь животное сметливая, всё норовит человека обойти. Это неспроста такое. Гриша тот же говаривал, что медведь и есть первый человек. Только Господь шкуру ему не позволяет снимать за какую-то провинность

большую. Медведю и досадно, что Господь человеку покровительствует, а ему нет. Вот и старается каверзы всякие строить.

А от медведя чтобы уберечься, есть у пастуха такие слова:

Стану я, благославясь,
И пойду, перекрестясь,
Из дверей в двери,
Из ворот воротами
В подвосточную сторону,
Покрываюсь я тучами и облаками,
Частыми звёздами пообтычусь,
Реками подпояшусь.
Помолюсь Иисусу Христу:
— Поставь, Господи, около меня,
Около поскотины моя,
И около скота моего,
Около комолая, рогатая,
Около быков легченных,
Около быков порозов,
Около малых телков с подтёлками
Меден, железен, булатен тын,
Стену каменную крепкую
Со всех четырёх сторон,
От земли и до неба,
От востока и до запада,
От лета и до севера.
От чёрного зверя широколапого,
От перехожего пакостника волка рысучего!
Аминь! Аминь! Аминь!

Только тоже всё не по-простому с медведями случается. Мне вот один довелось завалить двух медведей. Шкуру снимать стал, а там у него, под шкурой, — Господи, Господи! — кисет с огнивом, а у медведицы — бусики. Вот, мать честная, думаю, бывает же такое! Гриша мне уж потом рассказал, что тут случилось.

Был в наших краях колдун созлый. Дочку у него высватали. Ему-то это — как нож вострый в печёнки: дочь бисям ещё не научил, не успел. И не по нутру ему свадьба, да отказывать нельзя было. Договор у него ещё, вишь, прадедами заключен, чтобы не отказывать этой семье.

Родные у жениха тоже знатливые, но они уже не портили, а правили человека. Вот распря и пошла: один портит, другой лечит. И стали они одолевать колдуна, а чтобы совсем наверняка, решили его без потомства оставить. Колдун этот бисей мог только дочери передать, никого больше не было, а они её решили из семьи увести, чтобы биси никому не достались. Вот и просватали. Осерчал колдун, да виду не подал, злое дело задумал. Он ведь на хорошее и не способен вовсе. Согласился для виду, приданое посулил богатое. Дочь-то чуяла беду, да уберечься не смогла.

Свадьбу по чину сделали — с боярами, тысяцкими, как положено. Поехали под венец, а колдун больным сказался и в избе схоронился. А как поезд свадебный из церкви возвращался, глядят свадебжане: колдун на дорогу вышел, усмехнулся по-недоброму. В руках у него палка осиновая. Он в дорогу её воткнул, поезд и остановился. Лошади бьются, хрипят, а с места не сдвинутся. Подошёл колдун к ним, глазом кровавым всех обвёл. «Вы со мной по-недоброму, и я с вами так же». Взмахнул палкой осиновой и зачал куражиться. У дочки-то подружка была, она её и подговаривала против отца пойти, дак он её прямо на телеге кверху задом поставил и велел всем свадебжанам в срамное место её целовать. Девка-то благим матом орёт, совестно ей, что так вот куражатся, а сделать ничего не может. Вот уж колдун душеньку отвёл свою чёрную, вот он старался! А как натешился досыта, обернулся кругом, оземь ударился — сразу все завыли, замычали. Кого в медведей оборотил, кого в волков. Так вся свадьба и разбежалась по лесу. Вот они и ходят по нашим краям, а в человеческий облик вернуться не могут. Гриша так и говорил, что я жениха с невестой завалил. В этом греха нет. Господь распорядился их мучения на земле прекратить.

Есть на земле нашей волки-оборотни. Они ж скотине тоже вражины не последние. Вот пасут когда, первым делом от волков оборону держат. Гриша опять же рассказывал. Годка уж через три после того, как он с лесным хозяином договаривался, одолели их волки. И ведь вот какое дело: Гриша по-всякому старался, чтобы уберечься, а не получалось. И то ему странным показалось, что Якуня ему не помогает, а только всё расспрашивает, что ж такое от волков Гриша придумывает. Он всё как есть рассказывал. Только волки обходили все его придумки. И Якуня у стада мало времени проводил. Решил Гриша его выследить: что ж такое с пастухом? Улучил минутку, когда Якуня его не видал, и за ним пошёл. А пастух бочком — и в лес. Шёл недолго, вышел на знакомую Грише полянку, что у Кривого лога. Встал на серёдке, отрубил дважды в трубу свою ерихонскую. И набежали тут со всего леса волки, глаза у них красные, сами матёрые. Потом мужичонка выходит в армяке и шапчонке смешной на макушке, говорит:

— Пришёл, Якуня, не обманул.

— Куда ж я денусь-то? Крепко вы меня охомутали. Скажи лучше, сколько ещё маяться-то?

— Должник ты наш надолго. Не простил ещё старший брательник обиду кровную. До конца лета тебе, почитай, овечками да телятами расплачиваться.

У Гриши всё как прояснилось. Волки тогда только овечек и телят-несмышлёнышей резали. Вот, значит, кто их наводил! Смотрит, что ж дальше-то будет. Якуня сумку свою скинул, он её через плечо завсегда нашивал, достал ножик и в пенёк воткнул его. Волки все завыли, забегали по полянке, а Якуня разбежался да перевернулся через ножик. Только оземь вдарился, одежда с него полетела, морда вытянулась, шерстью порос. И превратился пастух в огромного волка с седыми подпалинами на боках. Тут Грише и вовсе понятно стало, почему волки его ловушки обходят. Сделал он себе заметку на память да к стаду вернулся. В тот день ещё телёнок да овечка волками зарезаны были.

Решил Гриша наказать Якуню. Сказался больным, братишку взамен себя представил, чтобы Якуне одному не так тяжело пришлось. А сам побёг в Кривой лог, на полянку, чтобы волков укараулить. Всё, как и накануне, случилось.

Только на сей раз Гриша дождался, что к вечеру будет. А вечером прибегает волк с седыми подпалинами, вокруг ножа оборачивается и обратно в Якуню превращается. Одедся, суму свою повесил на плечо и к стаду пошёл. Ну тут Гриша и удумал, что такое сделать, чтобы овечки пропадать перестали. На следующий день ещё хворым прикинулся, так же в Кривой лог пробрался крадом. Дождался там в кустах, чтобы волки разбежались, и – тихохонько к пеньку. У пенька Гриша одежду собрал Якунину, суму пастушью. Всё как есть подобрал, вместе с трубой ерихонской. А потом ножик-то и вытащил из пенька. Грохнуло что-то в небе, завыло по кустам страшным образом. Гриша бегом к дереву, взлетел на него быстрее белки. И только на ветке нижней устроился, выбежал на полянку волк с седыми подпалинами. Вокруг пенька крутится, воеет страшно, а сделать ничего не может. Потом в лес убёг, за подмогой что ли. Гриша не потерялся, так бежал, что пятки сверкали. До дому добрался, вещи Якунины в бане припрятал, чтобы потом тихохонько разобрать всё, что было в суме. На печь забрался – хворым прикинулся. А к ночи прибегает углан.

– Дяденька Якуня, – кричит, – пропал! А меня волки одолели. Так и кидаются, так и кидаются!

Якуню тогда долго по лесу кликали. На клич, вишь, только волк с седыми подпалинами выходил. Страшно мужикам, сбегали они за ружьём да и пристрелили волка, чтобы ужас больше не наводил.

Так закончил свой век на земле Якуня. А Гришу в пастухи определили – нового-то откуль возьмёшь? Только ничего у него не получалось попервости. В трубу дудит, дак один хрип идёт. Коровы разбегаются, тощие с пастьбы идут. Недовольны хозяева, всё Якуню поминают. Решил тогда Гриша суму распотрошить, вызнать, чем она так Якуне помогала. Разложил всё в бане крадом, и ничего понять не может. Ну, кисет с табаком, он, конечно, не в счёт. А вот остальное – это, понимаешь, диво. Была там ратная червь, Гриша её сквозь материал прощупал. Есть в наших краях такое.

Вот, дедушка Карпа рассказывал. Шёл он раз лесом, и вдруг прямо перед ним на тропке засеребрилось что-то. А ночью было, луна уж вышла, не темно совсем, окрест всё видно.

Глядит Карпа, а через тропку не то змейка, не то ящерка мостится, как цепочка она, из члеников разных состоит. Тело-то, точно, — змеиное, а вот торс и башка — человечьи. Дедушка Карпа плат беленый достал, на тропке расстелил. Ратная червь на этот плат взошла да и рассыпалась там на членики. Дедушка потом её в ладанку зашил и людей лечил, наговаривал.

Червь эта хитра — в камни прятаться горазда. Она в любом камне проточины делает, ходики такие. Это уж ратный камень. И он у Якуни в суме спрятан был. А ещё была громовая стрела чёрная. Это уж тоже редкость большая. Знаешь, поди, как молнии в землю бьют? Это Илья-пророк распоряжается. Он, вишь, дьявола-то на дух не переносит, всё норовит, как заметит на земле его проказы-каверзы, молнией прижечь. А дьявол-то юркий, уворачивается. Вот и бьют стрелы то в землю, то в постройку какую, а то и в человека могут попасть. Стрелу такую найдёшь, ею тоже можно человека пользоваться, править.

Много было у Якуни в суме-то. Только Гриша ничегошеньки не понял. Что в руках держит — про то слышал, а как пользоваться — не научен. Плоховато стало у них без пастуха. Хозяева уж на Гришу косятся — недоброе замышляют. Невозможно человеку без скотины на земле никак прожить. Хотя, вишь, и не всегда такое было.

Раньше, правда, давно это было, хлеба на полях не такие поднимались — колос прямо с корня и шёл. Это ж какая подмога человеку! Меньше землю тревожить, меньше лошадей мять. Да и сытно люди жили — на богатых и нищих не делились. А тут такая история приключилась.

Семья одна хлеба убирала. Споро робили, ладно. Праздник ведь для человека — тяжёлый колос в житницы составлять. Но вот незадача — взяли они с собой ребёночка-малолетку. Он у них в поле цветочками игрался, жучков разных ловил — присмотру-то не было за ним.

И надо ж такой незадаче случиться — обмарался. А бабе неохота подолом вытирать, вот она колосья в горсть собрала да и подтерла угла. Тут небо открылось, спустилась с него Богородица. «Неладно ты, баба, поступила. Испоганила хлебушек». — «Уж прости ты меня, неразумную. Подол-от чистый, чего зря марать! Сама бы, верно, платье своё не испачкала. Вон у тебя какие одежды белые!» — «Не язык у тебя, баба, а помело поганое. Мне на земле много мук было ниспослано, всё перенесла. И о человеке теперь заботушка главная. Только вона ты как за работу отплатила. Будет всем людям за то наказание Божье. Не бывать боле хорошему урожаю. Там, где запачкано, не будет колос расти. Соломой станет!»

Сказала так да и обратно на небо с лёгким ветерком поднялась. Так из-за бабы дурной человек в нищете жить стал.

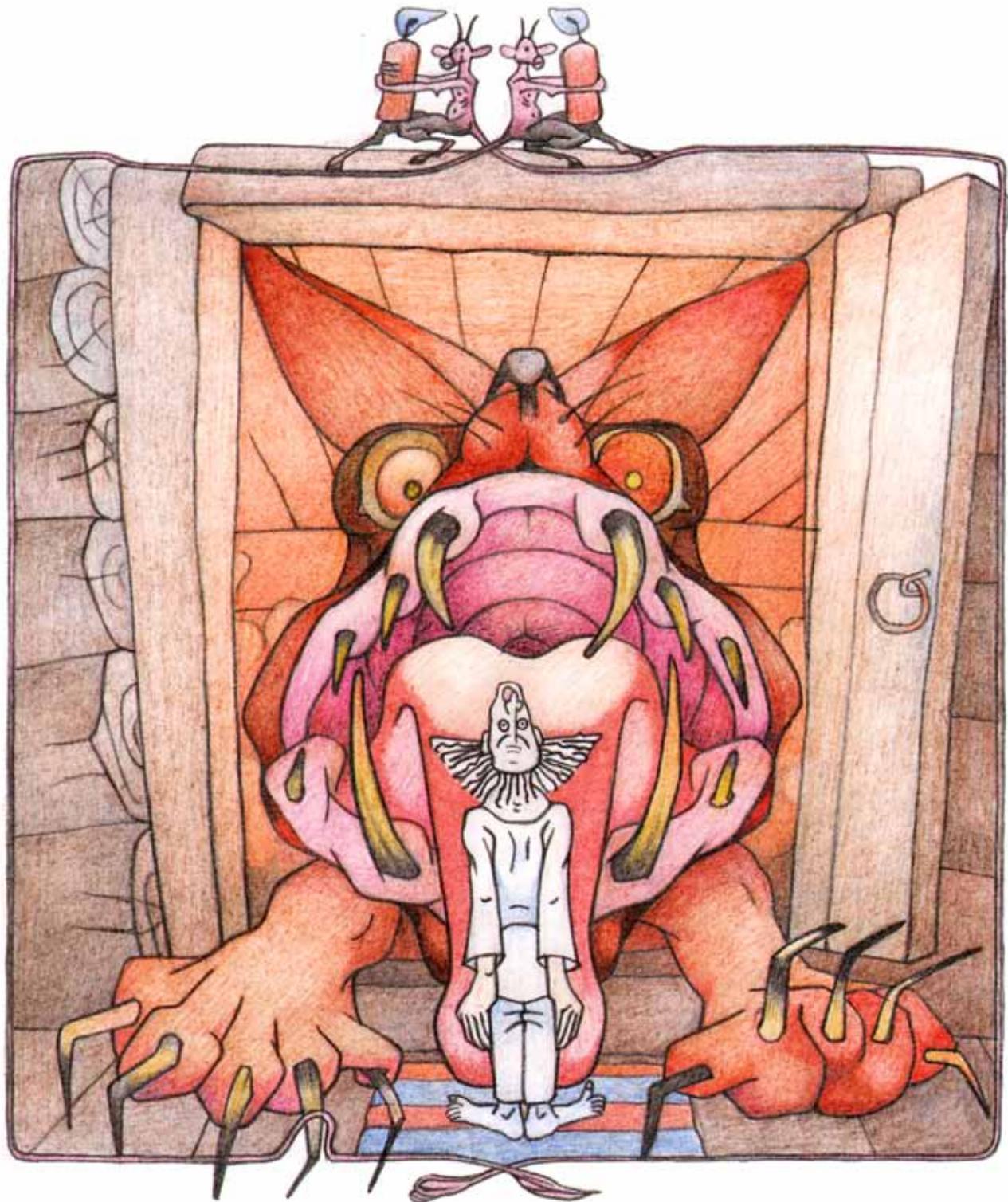
А с колоса махонького, какой он теперь на хлебах, с него много не прокормишься. Вот и

стал человек скотину держать, рыбалить да зверя бить. Скотины-то, вишь, много надо разводить, а коли коров в достатке, значит, и пастухи надобны.

Уж как Гриша-углашка тогда старался науку эту выучить! Только плохо у него без Якуни получалось. Перед обществом ответ держать нужно, а Гриша и не знает, как. Тогда он и задумал на колдуна выучиться, чтобы биси помогали. Они ж на многое горазды. Тогда и с Колянком столкнулся, только распятие его и спасло от греха. Это уж я сказывал.

Одно вот только непонятно мне. Сегодня-то о пастухе никто и не вспоминает. У нас вон заключённые пасут, да какой с них спрос: подневольные, не на себя робят! Раньше стадо до трёх сотен голов набирали, а сейчас одна насмешка. И по дворам скотину не держат — не стало такого обычая. Может, и зря.





О том, как клады на людей выходят и что из этого получается

Ты ведь, поди, и сам не знаешь, откуда есть пошёл человек на нашей земле. Может, и правда, по божественному промыслу. В человеке всего помаленьку намешано, только у одних божественного много, а другие с дьяволом в союз вступили. Вот Гришу взять — ему многое известно было, а это ведь не только от Бога. Однако ж любили его у нас. Зла Гриша никому не делал? Тоже не так. От Гриши колдунам много плохого было, а колдун-то хоть и созлый, Господь его на земле допускает. Я так думаю: это чтобы человеку нелегко жить было, чтобы грех свой первородный искупал род человеческий. Замыслено, значит, так было. И у зверья, и у птиц там разных — у них тоже своя божественная история имеется.

Вот откуль, спросишь, в лесах наших кукушка, воробей и голубь взялись? Раньше-то без них тоже не обходилось, только они малёхо другие были. Кукушка гнездо вила, птенчиков выпаривала сама, уж не подкидывала другим птицам. И у воробья справный дом имелся — не летал он по всему белу свету без кола и без двора. А голубь, вишь, замухрышка был, совсем непугающая птичка, и святости в нём никакой не было, перебивался по крошечкам — где зёрнышко стащит, где соломинку.

Слыхал, наверное, как Иисусу в жизни своей натерпеться пришлось. Хотел его нечестивый царь Ирод извести, воинов по всему белу свету разослал, чтобы отыскали, доставили пред очи его чёрные. А Иисус об этом

осведомлён был, вот и прятался, и до того его довели, что укрылся где-то в наших лесах, в траве высокой — тоже ведь умирать неохота. А воины Иродовы лес окружили, стали вопрошать, куда беглец делся. Кукушка с ветки им и отвечает: «Тут-тут, тут-тут, тут-тут». Иисус-то хотел укрыться, а она его выдала. Вот и проклял Иисус кукушку: «Чтоб тебе гнезда своего не вить никогда! Пусть твоих детишек другие птицы выпаривают и воспитывают!» Так и повелось с той поры. А это ведь нехорошо для матери — детей своих подкидывать, — на старости стакан воды подать будет некому.

Решил тогда Иисус мёртвым прикинуться, замер где-то в тростнике. Снова воины Иродовы вопрошают, куда Иисус подевался, жив ли он. А воробышек сидит на веточке и чирикает: «Жив-жив, жив-жив, жив-жив!» Может, и не со зла, но тоже нехорошо получилось. И его проклял Иисус, наказал за предательство: «Чтоб у тебя гнезда своего не было! Чтоб летал ты по свету, а сесть тебе нигде не давали!» Вот и стал воробей воришкой, вот и гонят его люди отовсюду, на землю близ жилья человеческого сесть не дают. Один голубь Иисусу помог, не стал предавать. Сидит и воркует: «Ум-мер Иисус, ум-мер!» За то награда ему была обещана. Теперь голубям всё позволено — человек их с тока права гнать не имеет. Вот они хлебом и кормятся. А что до убытку — дак хлебороб голубю его долю обязан отдавать без принуждения, иначе плохо будет — на ту же долю урожай меньше соберёт.

Это всё, вишь, лесные птицы. А домашних опять же взять. Им святые угодники покровительство оказывают, чтобы не забижал человек, чтобы кормил да ухаживал. Так они вместе и живут, хотя и гибнут от человека, в котёл его отправляются. Но так уж устроено испокон веку, что они главное пропитание дают. А дьявол и до домашней птицы, и до скотины добирается. Поэтому с ним и чудеса разные бывают.

Я вон, когда молодой был, — у нас такое приключилось! Молодёжь тогда по вечеркам хаживала, в гармонию играли — клубов-то никаких не было, вот и собирались по избам да по баням. Идём мы одинов по улице. Сапоги на парнях со скрипом, как тогда в моде были, я только в бахилах. В бахилах, вишь, удобнее, их на ноге почти и не чуешь, но мне ж обидно было, что денюжат недостаток — сапоги не купишь. Но крепился, виду не давал. Идём мы так, сам чёрт нам не брат, гармония опять же играет. А гармония баская — с малиновым перезвоном, позвонки там на неё навешаны разные. И вдруг видим: под ногами курочка вьётся. Да странная курочка: шея долгая, голая, крыльшками бьёт — того и гляди взлетит. А пёрышки у ей такие белые да чистые, что глазам больно смотреть. Шурянули её чем-то, а она не отстаёт. Тогда только пропала, как избу заброшенную прошли. Назавтра тоже курочка в том же месте показалась, а за ней телёночек красный трусит, хвостом вертит. И тут отогнали. Вроде уж и забыли о курочке с телёночком, а мне любопытно стало: чьи же они такие, откуль взялись? Спросил у матушки. А она и говорит:

— Не иначе, клады на вас выходят. Курочка беленькая — это серебро складено, а телёночек красный — золотой клад. Их обчурать надо — наотмашь чокнуть и сказать: «Чур, моё!» Только тогда монетами рассыплутся.

Матушке моей это всё известно было. Она когда малая была, у них в деревне баба одна вдовая жила. Изба ей от мужниных родителей перешла. И вот в одно прекрасное время стало их с дочкой из

дому выживать. А это уж страшное дело. Как ночь — шебуршит кто-то в голбце, плахи в полу подымает, а с потолка голос: «Паду да убьюсь! Паду да убьюсь!» Чего она только не делала — и святила избу, и маком обсыпала всё. Домовому, опять же, подношение делать положено — пирог рыбный да стакан водки. Но как ни старалась — ничего не помогает, вовсе уж собрались с избы съезжать. А тут к ней на постой нищий попросился на одну ночь. Пришёл, под окном встал, посохом своим странственным стучит: «Пусти, хозяйюшка, ночь переночевать!» — «Да тебе у нас не глянешься. Иди уж в другое место».

«А что такое?» — «Страшно у нас, выживает. Плахи в полу кто-то подымает, голос с потолка говорит». — «Экое диво! То плахи разошлись — скрипят и пучатся. А голос — дак то ветер в трубе завывает, вот тебе и блазнит».

«Да нет, странник. Голос тот отчётливо так выговаривает: «Паду да убьюсь! Паду да убьюсь!» — «Верно ли, хозяйюшка?» — «Да как не верно-то? Каждый вечер страх на нас наводит». — «Знаю я, как горю вашему помочь. То клад на вас выходит. Его время пришло, чтобы человеку показаться, а вы не понимаете. Ты бы меняпустила, я уж помогу тебе. Мне многое не надо». Приютила его вдова. А как ночь опустилась, снова с потолка у самой печки: «Паду да убьюсь! Паду да убьюсь!» — выговаривает. Взял тогда нищий посох свой странственный, кругом по избе прошёлся так, что мебель чуть не пошибал. А потом встал у печки, посохом по потолочине постукал и говорит: «Пади да убейся! Время пришло!» Тут же прямо под ноги ему золотые монеты посыпались. У бабы глаза разгорелись — никогда такого богатства не видела. Стала она золото в подол сгребать, а тут соседка заходит: «Не дашь ли, Анна, щепоть соли займы, а то похлёбку варить не с чем». — «Уйди, ради Христа! Позжее заходи: видишь ведь, занятая я, недосуг». А соседка-то золото увидела, разохалась вся: «Ой, какие у тебя, Анна, монетки! Да сколько много-то! Не отсыпала бы нам по бедности нашей и нищете?» Хозяйка-то озлилась — жадность в ей заиграла. А это, не иначе, бес её подталкивал, каверзу строил. «Где ж ты, глупая, золото увидела? Это не золото вовсе — угольки из печи рассыпались. Странник вон неладно их на загнетке загребал. А ты уж иди, иди, недосуг мне с тобой лясы точить!» Разобиделась соседка, ушла. А вдова с нищим сгребли всё золото в корчагу, делить стали. Да жадность-то их и сгубила. Рассорились они, кому сколько золота положено взять. Нищий за посох схватился. Анна за кочергу. Стали пластаться, да так, что хозяйка в угол улетела. А нищий быстрее-быстрее запустил руку в корчагу и взвыл дурным голосом! Трясёт рукой, дует на неё, потом в кадку с водой засунул. Заглянула баба в корчагу, а там вместо золота — угли горячие. Так вот они через свою жадность богатства лишились. Клад-то, он только на хорошего человека выходит, а плохому и в жисть не достанется. Скупость-то, вишь, до добра не доводит.

Вот тоже случай был. Богородица по земле ходила — высматривала, как человек живёт, за которого сын её настрадался в жизни изрядно. Правильно ли живёт, не во грехе ли? Прикинулась она нищей старухой, чтобы не опознали, милостинку под окнами просила, на паперти опять же. Ей знать надо, милосерден ли человек на земле грешной живёт. Постучалась она тут под окошком одним, а в избе только сыночек с матерью были. Они, вишь, вечеровали, столовничали, и шти у них мясные

были, и мясо в тарелку наложено, и хлебушек из крупчатки. Нищенка и говорит: «Подали бы мне, Христа ради, на пропитание хоть хлеба корочку». А баба взбеленилась: «Нет для тебя, старуха, ни кусочка! Уйди, а то хуже будет! Шляются тут по дворам, а потом неладно в доме». Сыночек-то углан ещё, помягчее мамыши, не тронула сердце его скупость. Вот он и говорит: «Может, маменька, подать ей чего? Вон у нас добра сколько!» Тут и баба маленько подобрела: «Да уж ладно. Держи вот репку, какая ни есть. А боле для тебя ничего не имеется». Швырнула она Богородице репку, а та вся в земле была, немытая. Богородица её под окном прямо и сжевала, земли не счищая. А напоследок сказала: «И на том спасибо, добрая женщина. Уж так ты меня, голубушка, уважила! Не знаю, как и благодарить тебя». — «Ладно, ладно, иди, куда шла!» — «Благодарная я тебе, женщина. Замолвлю уж за тебя словечко». Сказала так и пропала, как и не было её вовсе. И трёх дней не прошло, прибрал бабу жадную Господь. Схоронили её, на могилке поплакали. И снится сыночку сон. Идёт он каким-то полем с буераками, темно кругом, небо тучами надёжно закрыто. Входит в пещеру глубокую, дальше путь свой коридорами извилистыми держит. В одной пещере грешников на медленном огне жарят, в другой — рёбра им выламывают, и чем дальше, тем страшнее делается. А в самом дальнем углу кипит котёл смоляной, а в котле том матушка его варится — стонет, плачет. Мальчонка тоже заплакал: «Как, матушка, помочь тебе?» — «Ой, миленький мой, и не знаю. Сходи к набольшему, попроси за меня. Может, он муку изменит мне, послушается. Ты же у меня безгрешный». Пошёл мальчонка к набольшему, стал за матушку просить. А тот нахмурился: «Грешница большая твоя матушка. Нельзя её прощать». — «Будь милостив, дяденька! Помоги уж, я тебе за то всё, что хочешь сделаю». — «Мне, мальчик, нельзя котёл пустым держать. Если б ты замену нашёл какую, тогда бы сговорились». — «Ой, дяденька, давай я вместо матушки в котёл сяду. Жалко мне её, сил нет смотреть, как мучается». Задумался набольший. Брови опять-таки нахмурил: «Не положено так-то. Где ж это видано, чтобы дитя безвинное за родителей муку принимало. Не ходи туда, мальчик. Другой способ есть. Возьми репу грязную, самую грязную, какую в бурте найдёшь. Матушке своей в котёл зелень опусти, если вытянешь её на зубах, обратно на землю отправитесь. А нет — дак уж не обессудь: оба-двое мучиться будете». Схватил углан репу, самую грязную выбрал, и к матушке побежал. Она ещё пуще расплакалась, но, однако, за репу-то зубами уцепилась. Вот они и тянут — каждый в свою сторону. Силёнок у мальчонки мало, да и матушка его баба дородная — вот-вот в котёл утащит паренька. Испугалась баба за сыночка — отпустила репу-то. Разом в глазах у него помутнело. Очнулся на пече в родительской избе. Дух хлебный до него доносится. Матушка на лопате из печи хлеба вынимает, к церкви собирается — нищих кормить. Так по-прежнему жизнь у них и пошла. Только богатства былого уже не стало.

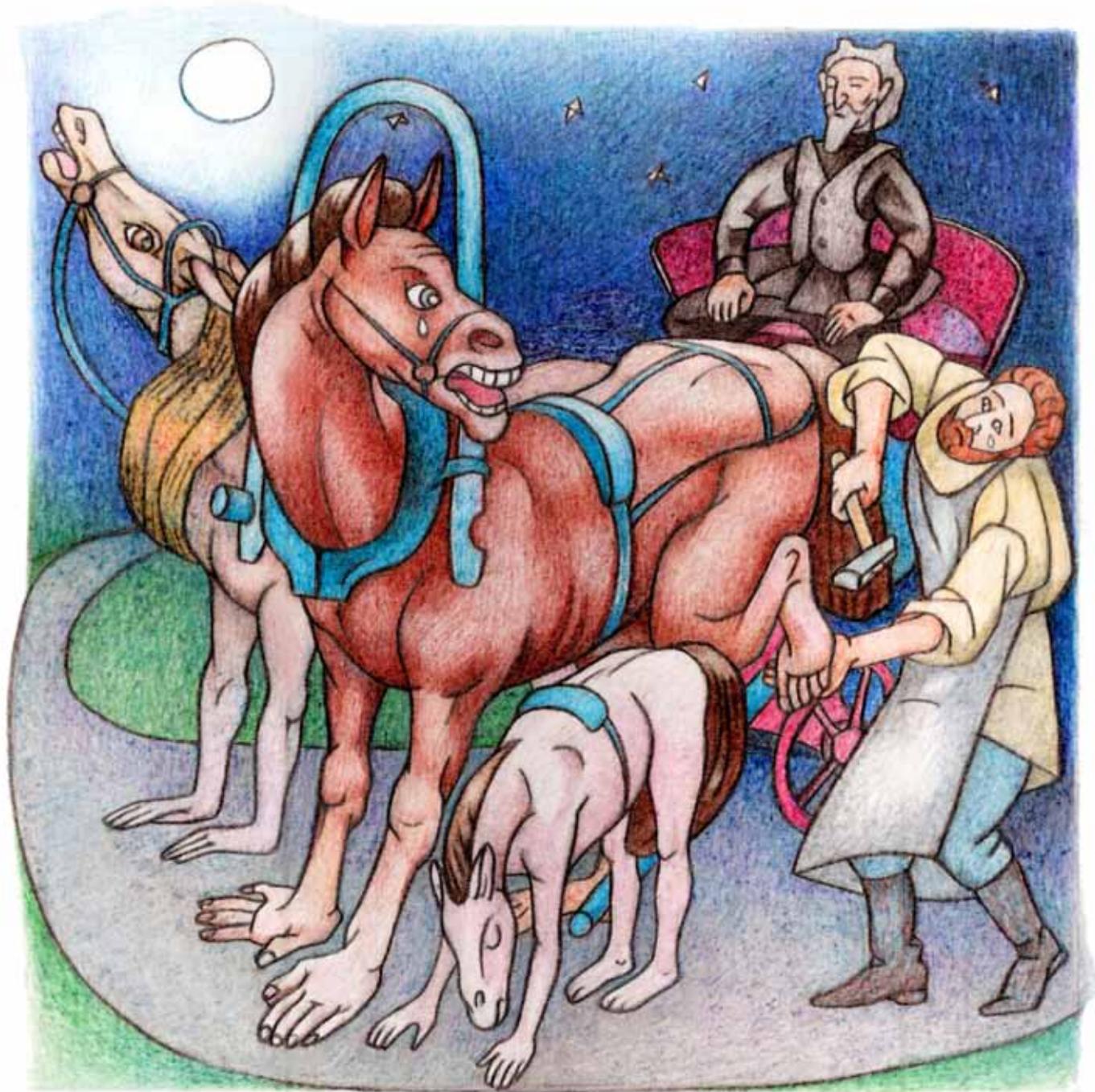
Так-то вот оно и бывает с жадными да скупыми. Но меня, вишь, это минуло. Клады-то я думал не для богатства вынуть — уж больно сапоги со скрипом хотелось иметь. И так меня эта думка замучила, что сон пропал. Сомкну веки, у самого одно на уме: как клады укараулить. Я их по-честному разделить хотел, чтоб никому не обидно было. А тут мне на ухо кто-то нашёптывает и нашёптывает: «Не трогай наши клады, Егорушко. Не трогай. У тебя тогда всё будет, если не затронешь».

Открою глаза — нет никого, только огонёчек синенький в углу горит. Снова веки сомкну — опять наваждение: голос слышать, а кто шепчет — непонятно. «Ежли не затронешь телёночка с курочкой, ежели сделаешь, как велим, все клады тогда тебе открыты будут — любой вынимай. Согласный — дак приходи к нам на поляночку, мы уж тебя научим». Опять глаза открыл. Огонёчек не пропадает, горит себе тихохонько. Только то странно, будто и не от свечки, не от керосинки — ровный совсем и сголуба как бы. И слышу я: веретёшко по полу жургает: «Жар-р, жар-р, жар-р». Кто ж это ночью пряхть может? Поглядел в уголок, тут у меня сердце чуть из горла и не выскочило. Сидит у пряслицы старушка маленькая. В платочке, сарафане, как бабка моя ещё нашивала. Сидит и прядёт, а на прялку пряжа светленькая привязана — большущий такой комок. Гляжу я и понять не могу, из чего пряжа выделана — не видал такой никогда.

Тут-то страшно мне стало. Как обожгло водой студёной — это ж суседиха из голбца выбралась. Самое её время. Нас, вишь, суседихой сызмальства пугали, чтобы без дела в голбец не лазили. А тут вот она, сидит, прядёт. Её к доброму не видают, только к худому. Тут бы мне и призадуматься, о чём знак был, а сапоги, вишь, весь белый свет застили — так покрасоваться перед девками охота было. Вот я и смекаю про себя, что голоса не иначе как про папоротников цвет говорили. Есть такой цветочек, в ночь на Ивана цветёт. И вот, кто счастливый, тому достаётся этот цветочек. И все клады в земле бывают открыты. А голоса шепчут: «Правильно, Егорушко! Правильно смекаешь. Приходи к нам на поляночку в эту ночь, всё как есть тебе про цвет папора скажем. Приходи-и, приходи-и, а про клады эти забудь. Наши они». Тут я и решился. Не иначе, и меня заморока взяла. Знал ведь, что бесовское это дело, а бабушкины золотые слова запомнил.

Вечеру парни опять на гулянку собираются. Оно, вишь, после Пасхи как раз было, за зимуто насиделись по избам да по баням, на воле погулять охота стала. Грех, конечно, в пост гулянки устраивать, но ведь противу природы не попрёшь. Молодость, она и на то молодость, чтобы работать справно и веселиться справно. А я хворым сказался — мне ж в Кривой лог идти надо, всё про цвет папора узнать. Слышал и рассказы такие, но, говорят, не было ещё человека, который бы им до конца завладел. Всё нечистый дух его выманивает. А тут, я смекаю, они и предложили. Вот и отправился.

Иду я дорогой, спешить, вроде, незачем. И опять меня любопытство разобрало. На краю, вишь, кузня стояла. Трофимка там робил. Перед летом-то работы много, но тут что-то совсем заведеродал мужик. А на кузнеца многое тоже наговаривают. Он, вишь, с огнём и с железом робит, дак черти, говорят, ему и помогают. Решил я крадом подглядеть, чем он таким в самое страшное время занимается. Подкрался к кузне, а заглянуть не с руки. Вот и залез на крышу, стал в щели заглядывать. Трофимка молоточком по наковальне постукивает, жар там у него пышет. Пригляделся: а он гвозди куёт — для общества старается. Хотел я уже слазить с крыши, да тут на дороге тройка показалась незнакомая. Правит ею мужик ладный, а кони на отличку ото всех. Груды широкие, бабки, как точеные, — хорошо тянуть должны. Тройка, вишь, у кузни остановилась. Трофимка услышал.



— Кого черти принесли в такую темень?!

А мужик слез у кузни, весь в кожу затянутый, вот она у его и поскрипывает, как сапоги.

— Ты, что ль, кузнец будешь?

— Ну, я. А ты что ж в такое время коней маешь?

— Не твоя это забота, Трофимка.

— Ишь ты какой выискался! Я тебя и не видывал, а ты «Трофимка». Мне все уважение оказывают, по отчеству величают, а ты выискался тут. Тьфу, пропасть!

— Ладно, хорош лаяться. Не собаки, чай. Возьмёшься для меня работу сделать?

— Недосуг мне. Другой работы навалом. Тебе, знать, ковать надобно коней-то. А у меня и без тебя голова болит, как бы со всем ко времени управиться.

— Да я тебе богато заплачу.

— На что мне твои деньги? Подавился бы ты ими.

— Не лайся, Трофимка. А то хуже будет, ежели просьбу мою не исполнишь.

— Ой, ой, напугал как! Самого соплёй перебить можно, а туда же — пугает. Ну что ты со мной сделаешь?!

— А вот гляди!

Тут возница прямо на глазах расти начал — уж выше крыши вытянулся. Взял он ёлочку за маковку, дёрнул легонько и так её зашвырнул, что и не видать было, куда упала. Трофимка со страху закрестился — понял, кто к нему в заказчики пожаловал.

— Ну, будешь ли ковать?

— Да куда от тебя, окаянный, денешься. Буду.

Мужик сразу простого росту стал. Наладилс я Трофимка с молоточком, гвоздями, подковки достал. У коренника ногу заднюю загинает да как заорёт вдруг!

— Не буду ковать, хоть режь меня! Там же нога человечья!

— Не твоя заботушка! Куй, тебе говорят! А не станешь — дак гляди, самого тебя, как ёлку, закину!

— Ладно, твоя взяла.

— Куй, куй, я уж и кошель приготовил.

Стучит Трофимка молоточком, а у самого из глаз аж слёзы катятся. Виданное ли дело — в человечью ногу гвозди вбивать! И коренник стоит, дёргает его во все стороны, плачет горячими слёзами — они у него аж с горошину сыплются.

Взялся кузнец за передние ноги. Ещё пуще зарыдал.

— Как же мне в руку-то человечью гвозди вгонять? За что ж мне такая мука?!

— Куй, куй давай! Твоё дело робить, а не глядеть, что под гвоздём. Присмотрелся я получше, в молодости-то глаз зоркий был. Господи, ужас какой! Рука-то крестьянская, узловатая, ладонь широкая. Это ж мука какая! Господь через то же прошёл. И ступни, и ладони ему гвоздями на кресте дырявили, а он терпел.

Закончил Трофимка работу. Возница в повозку взлетел, гикнул, свистнул, тройку без жалости нахлестывает — вот кони и полетели, как проклятые. Вмиг не стало видать, только дорога загудела по-страшному. А Трофимка глянул — у ног его кошель тяжёлый лежит. Поднял он его, сказал только: «Господи, прости!» — взвыл дурным голосом и в канаву кошель забросил. А в канаве пыхнуло огнём. Чёртовы-то деньги, видать, не простые оказались.

Потом уж мне Гриша разъяснил, что там такое случилось. Возница, понятно, сатана и был. Он ведь на Пасху обязательно человека в петлю должен подтолкнуть — иначе ему нельзя. Вот он и присматривает, выискивает где у кого слабинка есть. А тут семейство целое попало. Они, вишь, небогато жили, а ещё год неурожайный. Вот, как совсем невмочь стало, окаянный им нашёптывал. Хозяин-то печь рано закрыл — они всем семейством и угорели. А сатане этого и надо — души грешные улавливать. Он их в коней оборотил и катался, пока луна стояла.

Тогда-то я не понял, что это такое случилось, потом уж только. А ведь знак это мне был, чтобы не ходил в Кривой лог, чтобы не думал про цвет папора. А мне уж больно хотелось сапоги заиметь, вот дальше и пошёл. Дошёл до места, на пеньке пристроился. Сижу, жду, что дальше будет. А из лесу выходит мужик здоровущий. Как он появился, деревья сразу к земле загинаться стали. У меня аж мороз по коже пошёл, как в бане, когда с улицы в жар попадёшь. На мужика и глянуть боюсь.

— Зачем пожаловал, парень?

— Да не знаю, дяденька. Велено было явиться. Разговор, видать, какой-то до меня есть.

— А кто велел-то?

— Да голос был мне, видение. Старуха маленькая в сарафане да в платочке блазнила.

— Это уж сестрёнка наша. Голос-то про клады спрашивал?

— Про клады, про клады, дяденька. Я уж думал курочку с телёнком монетами рассыпать, а голос отговаривал.

— Что ж ты такой-сякой на чужой каравай рот разеваешь?! Ты эти клады зарывал? Ты заклятие на них ложил?

— Да где мне, у нас деньжищ таких никогда и не бывало.

— А что ж тогда покушаешься?

— Сапоги охота завести, чтоб со скрипом были, а денег недостаток.

— Будут тебе сапоги. Приходи на эту поляну в ночь на Ивана. Мы тебе тогда и цветочек укажем. Твоё дело сорвать и до дому унести. Понял ли?

— Да понял, понял, как не понять!

Сказал так, а мужика уже и нет нигде. До дому я бегом бежал, на крыльцо влетел так, что сбрыкали ступеньки. Матушка поворчала малость, что топочу, как жеребец нехолощенный. А у меня на душе и радостно, и муторно — всё разом. Боюсь, как дальше всё сложится, и радуюсь, что деньжата на сапоги заведутся. Тут же меня и другие мысли одолели. Сижу, думаю, что бы ещё с цветом папора получить. Сапог-то одних мало показалось. Это бес к такому и подталкивал, управлял желаниями.

Ну, думаю, заведу себе гармонь — гармонистам всегда завидовал. Ещё вина накуплю, чтобы угощать честной народ — меня тогда уважать все будут. И мельницу перекуплю, чтобы деньги никогда не переводились. Много я тогда напридумывал — самому сейчас удивительно, как такое в башку залетело.

А время-то к Иванову дню идёт. Стал я тут задумываться, как от нечистого духа оборониться. Я слышал, что Евангелие читать надо, зачерчиваться. А когда сорвёшь цветок, ни с кем не заговаривать, не смеяться. Это, думаю, по силам окажется. А тут с матушкой беда приключилась. Она, вишь, заметила, что суседко, домовый по-вашему, косу ей плести зачал по ночам. Матушка у меня хозяйка была знатная — и стряпка, и скотница, — коровы у ей всегда обихожены были, в избе чисто. И суседко ей помогал по хозяйству робить. Мы как с работы вертаемся — в дому всё ладно, аккуратно. Удивлялись: кто ж это так старается? А ночами суседко матушку только тёплыми пальцами трогал, не давил её, как бывает. Это уж первейший признак, что доброе предрекает. Раз ещё косу заплёл. У нас так считается, что трогать её нельзя, иначе худо будет. Матушка и не трогала до поры. А тут корову новую во двор завели, я уж тебе сказывал, как это было.

На первое утро матушка во двор зашла, а корова вся в пене, мокрёхонькая, а к корму и не при- трагивалась. Подивилась матушка, но значения не придала. Чем дальше, тем больше. Корова день ото дня худеет и худеет. Тут только смекнули, что суседко её незалюбил, а матушке-то корова по нраву пришлась. Вот она меня и упростила, чтобы покараулил ночью, что ж там с ней такое делается.

Сошёл я на двор, за яслями притаился. Сижу, глаза таращу, чтобы не уснуть. А после полночи старичонка махонький на дворе появился. Расхаживает по-хозяйски так, в красном колпачке, в ко- соворотке холщовой, ноги в лапоточки обуты. Похаживает он по двору, коров по бокам поглажива- ет, мерину нашему гребешком гриву расчёсывает. Потом наладился ему косички мелкие плести. А к Пеструхе и не подходит, она от него бочком отодвигается, глаз косит. Закончил всех обихаживать — Пеструхи черед пришёл. Старичок оземь ударился, лаской оборотился. Ласка Пеструхе меж рогов вскочила и гонять по двору начала. И щиплет её, и треплет. Та уж вот-вот упадёт — она ж слабенькая с голодухи. Тут я не сдюжил, выскочил из-за яслей да как заору:

— Вот кто нам скотину мает! Вот кто Пеструхе жрать не даёт! А ну, брысь отсюда! — И ожёт ласку хворостиной. Юркнула куда-то ласка, не стало её, как и не было вовсе. Я Пеструху успокоил, погладил, приласкал, корму ей подсыпал. А потом ночевать ушёл.

Утром матушка прибегает.

— Вставай, Егорушко! Ой, беда у нас. Ты ночью на дворе караулил?

— Караулил, матушка. Тама старичок такой был в красном колпаке. Он всю скотину, кроме Пе- струхи, обихаживал, а её, бедную, гонял. Вот я и ожёт его хворостиной.

— Ох, что ж он, окаянный, наделал! Всё ведь разгромил, порушил! Иди посмотри, там как Ма- май прошёл.

Выскочил я в одном исподнем на двор, а там и вправду всё порушено. Ясли перевёрнуты, со- лома раскидана повсюду. Скотина в кучу сбилась, едва живая стоит. Тут я и подумал, что, может, зря

старичка обидел. Вон он какой злой оказался. Теперь и другую скотину изведёт. Матушке сказал, а она пуще того осерчала.

— Я этому ироду спуску не дам! Сама скотину караулить буду, чтобы не трогал. А то, ишь какой выискался — каверзы строить!

— Успокойся, матушка, как бы беде не быть. Суседко-то ублажать надо, сама же мне об этом сказывала.

— А я другого себе найду. Помоложе и получше. Этот уж надоел. Никакого проку от него нету!

И в сердцах косу-то, которую ей суседко плёл, ножницами отхватила. Вот ночью и началось. Она, говорит, не вздохнуть, не охнуть не может, как подкатило ей что-то под горло. Одно только и смогла промолвить:

— К худу, к добру ли давишь?

Он её пальцами ледяными стиснул и выдавил:

— К ху-уду!

И всё. Не стало нам покою с той поры. Скотине худо — не ухаживает суседко за ней, мает только. В дому, как придём, вся мебель переставлена, мусор кругом. А у матушки голова болеть стала так, что моченьки терпеть нету никакой. Одинов я к дому раньше подошёл, высмотреть решил, что ж там без хозяев делается. Подкрался под окошко, слушаю. А там разговор.

— Что ж, братья, делать будем? Как нам человека ещё извести можно? Всё уж перепробовали — и войны, и болезни насылали — живёт, проклятый.

— Да просто всё, так мне сдаётся. Не надо трогать, пусть люди сами собой изводятся. Тут только подтолкнуть требуется.

— Как подтолкнёшь-то? Непростое это дело.

— Чего уж проще. Надобно не болезни и войны насылать, а вино зелёное. Будет вино, и нам хорошо будет. Человек, когда хмельной, так к нам и просится. Ну, быть ли по сему?

— Согласные. А что с хозяевами этими делать? Простить, может?

— Хозяйку-то можно, ежели подношение догадается сделать. Уж больно мне не по нутру маять её. Это вам, варнакам, одно удовольствие человеку каверзы строить, а мне и помочь охота, ежели справный хозяин. А с парнем вам решать.

— Придёт к нам в Кривой лог, цвет папора отдаст по доброй воле, там мы его и задавим. Уж больно он любопытен да с Гришей стакнулся. Ежели обманом выманим — пуцай живёт.

— Ну, на том и порешим. Ежели сам на поляне не уберётся, спасать его и не будем.

На том разговор и закончился. Я — как закаменел, стою, слова не могу вымолвить. Видел только, как из трубы искры огненные посыпались. Тут и родители подошли. Я решил всё-то им не сказывать, что слышал. Только про подношение суседке и рассказал. Матушка обрадовалась, что наладить всё можно. Пирог испекла — рыбник, стакашек водки налила. Поставила на ночь всё это у голбичной двери, а её приоткрыла. Утром ничего на месте не нашла. С той поры по хо-

зьяйству опять всё ладно пошло. А меня разговор тот мает. Пошёл к Грише, чтобы совет спросить. Выслушал он меня внимательно.

— Не ладно это, Егорушко. Приблизило тебе или так всё было, не скажу. Одно только твёрдо знаю: в ночь на Ивана придётся тебе в Кривой лог идти. Место мне знакомое, совет дам. Только обещаешься всё исполнить, как скажу. Про Евангелие и про то, что зачерчиваться надо, слышал уже, это хорошо. Но и другие способы есть, чтобы дьяволу не поддаться.

— Какие же, дядя Гриша?

— Как зачертишься, по сторонам не гляди, кто бы тебя ни звал. Искушать будут, не поддавайся. Знаешь, поди, как искушают. Грех, он вёрткий, не заметишь, как подкараулит. А чтобы случаем в ухо не залетело, их воском залепить придётся. Только с той свечи, какую на венчании жгли. Тогда, может, и пронесёт.

— Может, дядя Гриша, не ходить мне?

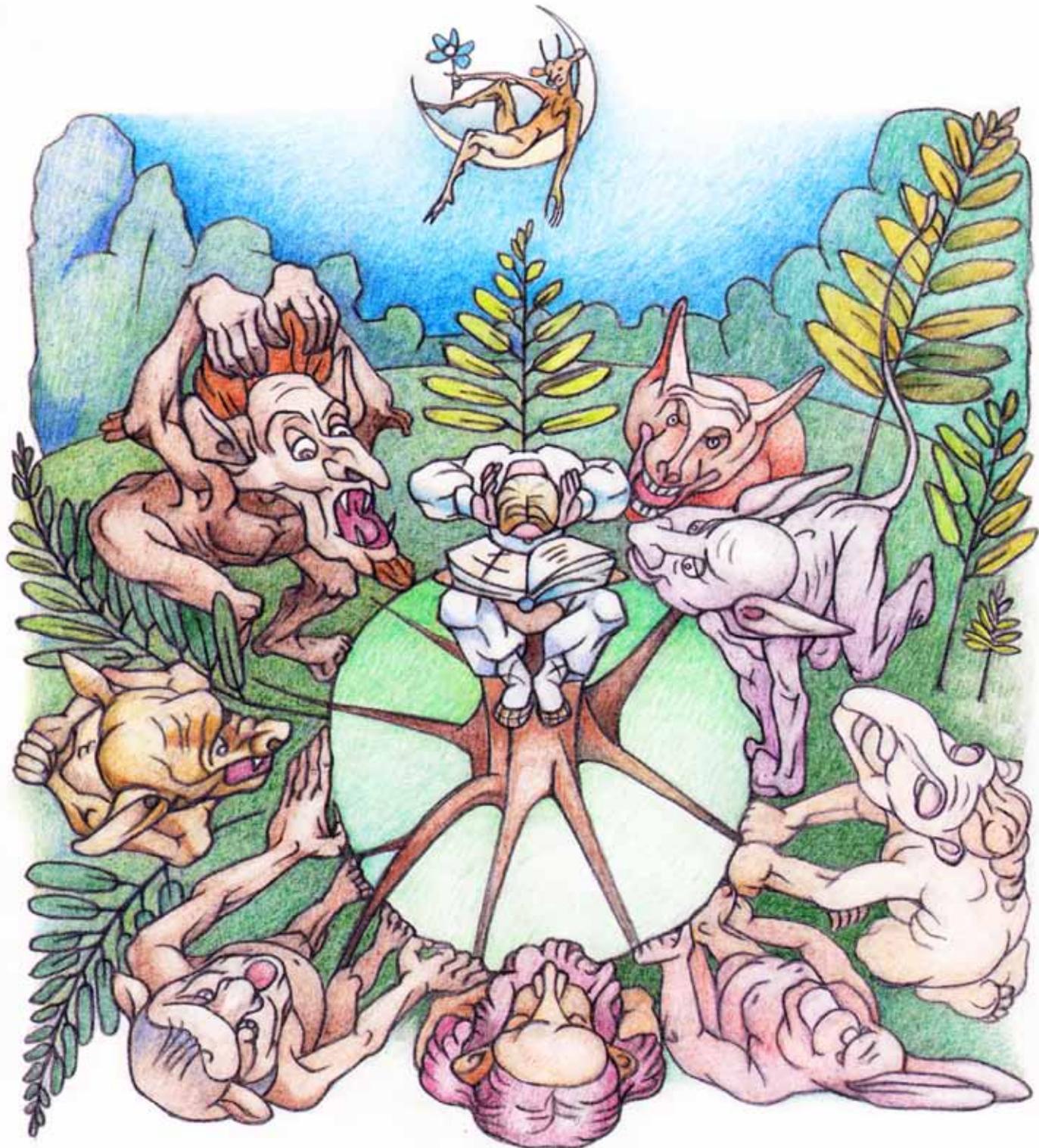
— Нельзя, Егорушко. Коли попался, идти надо. Иначе они тебя в другом месте укараулят, где и не ждёшь. Лучше уж разом отвязаться. Понял ли меня?

— Да понял, дядя Гриша, понял.

— Ну, так отправляйся. И не бойсь. Ничего не случится, ежели всё, как велел, сделаешь.

К ночи на Ивана я загодя подготовился. И воску со свечи венчальной намял, и Евангелием запасся. А чтобы зачерчиваться, для верности ожег банный взял. Со всем этим хозяйством и отправился. Мимо кузни, как мышка, проскочил — боязно было, про тройку вспомнил. И мимо осины тоже, что на росстани стоит, нехорошее ведь это место. Иду дальше и невесело становится. Зачем заветы нарушаю, зачем с чертями судьбу свою связываю? Уж совсем решился было обратно повернуть, но чую: как подталкивает меня кто-то. Иду бесшумно, в лапти обулся, чтобы удобнее было, только трава шуршит да из Кривого лога посвистывает кто-то. Сесть хочу, дух перевести — ноги не сгибаются, сами собой вышагивают. А меня уж и на полянку вывело. Стоит в серёдке пенёк трухлявый, а кругом пусто, только папоротник-трава растёт. Всю жизнь мне любопытно было, каков же из себя цвет его. Тут уж недолго осталось, чтобы узнать, а что-то пакостно на сердце, кровью его заливают. Сел я на пенёк, зачертил по-быстрому банным ожегом. Евангелие на коленях разложил и читать зачал.

Тихо в лесу, ни былиночка не ворохнётся. Я уж и носом поклёвывать стал, совсем как тогда на печи, когда деда Коляна хороняли. Но травинку припас, чтобы в носу щекотать от сна. И чую, что не один я на полянке, тесно вроде стало, хотя за круг никто и не переходит. И любопытство меня разбирает: вот бы хоть одним глазком посмотреть, что ж такое на полянке делается. А тут в ухо мне нащёптывает на разные голоса. И слышу, матушка жалобно так застонала: «Егорушко, спаси меня, мучает меня неведомая сила. Спаси, Егорушко». Сердце у меня зашло, совсем было на подмогу кинулся, да про воск вспомнил. Гриша-то мне наказывал, а я запамятовал. Схватился за вошинку, пока пальцами её разминал, читать бросил. Тут же со всех сторон ко мне хари потянулись жуткие, какие и



во сне не увидишь. Но успел уши заткнуть, и зачастил, что никакой и дьячок не угонится. Сразу пропало всё. И хари, и лапы когтистые.

Отлегло от сердца. Но дальше непонятно: как же я цвет папора узрею, коли по сторонам глядеть нельзя? Только подумал так, пенёк подо мной подпрыгивать начал. Знак, думаю, и есть. Поднял тогда глаза, а кругом огонёчки горят. И баские такие, что не налюбуеться. Сижу я, жду, когда цвет папора появится. Мне ведь он думался красоты неопиcуемой — листочки всех цветов и светится ярче солнышка красного. Но как ни глядел — не увидел такого. Один огонёчек только и подрагивает, мигает как бы, остальные ровный свет дают. Вспомнил я тут, что и на цветок знак будет, понял, что самый неяркий он и есть. Всегда так и случается. Ждёшь настоящее, да кажется оно навроде жар-птицы сказочной. Погонишься за ней, а там пусто. Настоящее на деле самым невзрачным да худым оказаться поначалу может.

Вот было у нас. У дядьки моего сын приёмный был, Семён. Баскущий, ядрёный, и в работе не отставал. Всем задался парень, и девки на него заглядывались, но уж больно разборчив оказался. Погодки его семьями обзавелись, ребятишками, а он всё не решался. У одной нос в конопушках, у другой рот велик, третья всем хороша — и станом крепка, и плечами кругла, и другими женскими прелестями богата, ан и у неё изьян — разговорчива без меры.

Так и докопался — не осталось в округе ему ровнюшки. Одна только девка — кособоконьякая да полоротенькая. Он на неё даже и не глядел. А ведь время пришло гнездо вить, не в бобылях же сидеть! Тут он и затосковал. Во сне раз такая девка привиделась, что глаз невозможно отвести. Стала она его по ночам потаённым поманивать, бабьим. Семён совсем извёлся — вилы в руках удержать не может. А девка, слышь, чуть не во плоти ему являться стала. Ушёл он тогда на вышку ночевать, выждать её. Девка-то является, во всей красе ему показывается, он уже и жар от неё чувствует, а руки протянет — она как сквозь землю проваливается. Проснётся Семен — в руке у него угол сенника зажат. Утром раз не сдюжил, вышел на крыльцо да гаркнул во всё горло: «Хоть бы сатана за меня пошла!» И тут же колокольца забренели, покатился по улице свадебный поезд богатый. За невестой на телегах приданое везут в сундуках распахнутых. Гривы лошадиные шёлковыми лентами изукрашены, музыканты в повозках сидят. Одни волынки тискают, другие в дудки дудят, кто-то в бубен наяривает, кто-то на гусельцах набрякивает. А невеста та самая и есть, что по ночам являлась. Взошёл Семён к ней, к бедру крутому прижался, слова нежные в ухо шепчет. Сам и не помнит, как в церкви подъехали. Встали пред налоем, на Семёна уж и венец опускают, тут он возьми да перекрестись! Оглянулся кругом — батюшки! — музыканты-то окаянные. На бубны у них кожа человечья натянута, дуют в косточки ребячьи, вместо волынки пузырь рыбий, а на гусельцы жилы бабьи натянута. А невеста хвостатая да рогатая, задом крутит, хвостом метёт, пасть уж расщеперила, чтобы сожрать. Зачитал Семён молитву — с жизнью прощаться, — тут всё и пропало, как и не было вовсе. Очнулся Семён в сарае каком-то кособоком. Стоит на чурке, а с потолочины на него петля пеньковая опускается, в руке косточка куриная вместо свечи зажата.

Понял он тут всё: кто к нему по ночам наведывался, в соблазн вводил. А силы из сараюшки братья нет никакой. Стал Семён стонать: может, кто и услышит.

А мимо как раз девка та неказистенькая проходила. Вывела она Семёна, ухаживать за ним стала да так и прижилась в дому. Родители у неё беднейшие были, они уж не супротивничали, когда Семён её сватал. Так и обвенчались, месяца не прошло. Хозяйка она оказалась знатная. Распрямилась, расцвела в бабах — Семен на неё нарадоваться не мог. А тоже ведь попервоначалу внимания никакого не обращал.

Так, видать, и с цветком папоротника. Потому его человеку не каждому сорвать дано, что счастье своё он в красивой завёртке представлять привык, чтобы сияло всё, глаз резало. А настоящее, оно простое, как баклуши, ничего мудрёного в них нет.

Сорвал я цветочек. На вид-то он такой неказистенький: лепесточки белёсенькие, неяркие. Повертел я его в пальцах, стал кругом оглядываться. И только диву даюсь: землю насквозь видать. Вон в корнях ели корчага с золотыми монетами зарыта, а под этим кустиком — сундук кованый с самоцветами. И боязно мне так-то ступать — земли совсем не видно. Заткнул я цветочек за онучу и к дому направился. Знаю, что оглядываться нельзя, а то пропадёт цвет папоротника. Иду, держусь, помню наказы-то. До осины на росстани дошёл, мне навстречу тот мужик и выходит, с которым на полянке встречался.

— Давай, Егорушко, цветок. Наш он теперь. Я тебе на сапоги золота положу, чтобы без обману было.

Взялся я за него, а тут Гриша передо мной встал. Не ожидал я такого, чуть цвет-то и не выпронил.

— Не отдавай, Егорушко! Забыл, что задавят, если добром отдашь! Беги, миленький!

А мужик взвыл дурным голосом:

— Тут-то ты мне и попался, гадина! — И на Гришу кинулся. Я-то побежал, уж и не видал, чем там у них закончилось. Бежал, пока деревня не завиднелась. Тут только дух перевёл. А навстречу мне парень идёт, наш, деревенский, Петьша. У него сапоги самые баскущие и были, я на них всё заглядывался.

— Здорово, Егорушко! Куда путь держишь?

— Да вот домой вертаюсь. Я тама морды проверял дальние. А ты куда идёшь на ночь глядя?

— Да силки поставить ходил.

— Ты, слышь, Петьша, посмотри, нет ли у меня за спиной кого, а то что-то боязно.

— Да нету, Егорушко. Пусто сзади. Только месяц вон из-за тучи показался.

— Ну и слава Богу.

— Что-то у тебя, Егорушко, лапти совсем прохудились. Бери вон мои сапоги — мне тятя ещё пару с ярмарки привёз. Потом уж рассчитаемся.

— Да что ты, Петьша, как можно. Я и в лаптях дохожу.

— Бери, бери, не даром ведь отдаю. А я покуда в твоих лапоточках дочапаю. Завтра-то мы поутру рано к родне собрались, не застанешь меня. Давай забирай мои сапоги, а лапти скидывай.

Сдуру-то я согласился. Уж больно охота было сапоги со скрипом поносить, перед девками пощеголять. Скинул лапти, в сапоги влез. Петьша лапти забрал с онучей и быстро как-то ушёл. А я в обнове вышагиваю, скрип слушаю. И кажется мне этот скрип лучше и слаще самой небесной музыки.

Вдруг остановился, разом про цвет папора вспомнил, что за онучу он у меня заткнут был. Бросился Петышу догонять и споткнулся. Глянул на ноги, а там вместо сапог корьё осиновое.

Вот ведь как вышло! Поспешил я к Грише. К избе-то подхожу, а там бабы воют. Сердце у меня ёкнуло и зашлось, беду почуяло. Взбежал на крыльцо, в сенцы, в избу, дверь распахнул и замер. Лежит дядя Гриша на лавке. Вокруг бабы хлопочут, обмывать покойника ладятся.

— Вот, Егорушко, закончил жизнь свою Гришенька наш. Ножки его теперь не по земле, по облакам ступать будут, бороду ангелицы расчесывать станут.

Не сдюжила тут одна из баб, на всю избу заголосила:

Ой да соколочек наш ты миленький!
На кого ж ты нас покинул всех?!
Ничего от ты не видели,
Кроме доброты и почестей!
Да куда ж ты снаряжаешься?!
Да куда ж ты собираешься?!
Сокатились снега белые,
Реки быстры распалились.
Только нет тебе дороженьки,
Только нету тебе выходцев
Со чужой сторонки дальнейей.
У чужих-то, ой, неласково!
У чужих-то во сиротстве жить!
Мы уложим тебе, миленький,
Руки белы на белой груди!
Ты прости, прости нас, миленький,
Что с тобой не собираемся!
Одного тебя оставили на расправу зверю лютому!

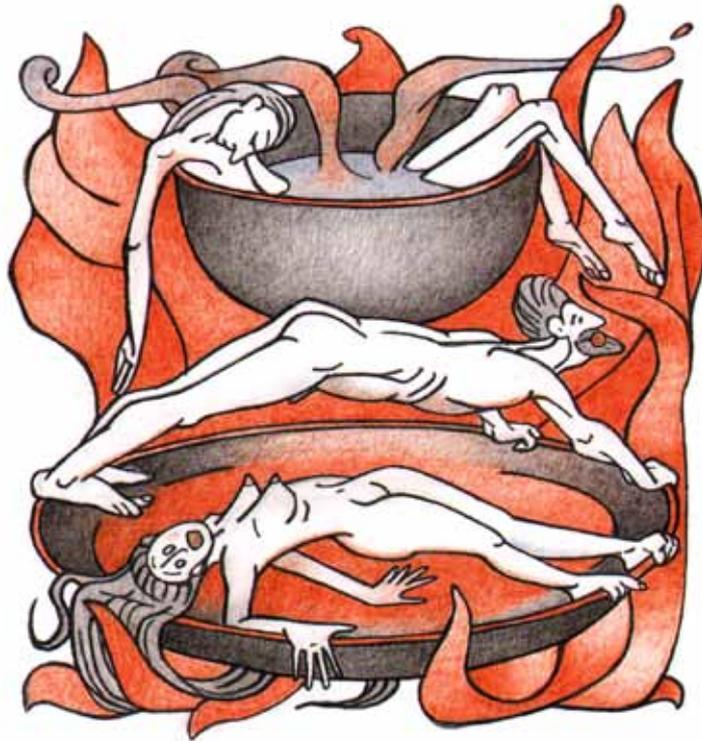
А дальше так зарыдала, что и я не сдюжил. Стою меж баб и сам во весь голос вою. Тут уж и мужики сбежались. Шибко все Григория любили, вот и жалели сильно. Он для нас как свет в окошке был. Осиротела без него деревня. Всем миром хороняли. И по сию пору его могилка самая ухоженная на могильнике нашем старом, хотя и родни у него не осталось.

И я его часто поминаю. Дважды ведь жизнь спас. С Натальей раз, и в Кривом логу. И слова бабкины золотые ему лучше всех подходят: «Честным христианским трудом живите, детушки. Никакой чёрт тогда не страшен: Бесовское, оно хуже воровского. Проживёте без хворостей и беды, коли слова мои попомните». Всё как есть о Грише сказано. Я, вишь, тоже так старался жизнь прожить. Мне уж тоже скоро счёт предьявят — сколько задолжал, сколько мне должны

остались, — там всё сведено будет. Но одно твёрдо знаю: просто так ничего не случается. Всё от Бога, даже сатана.

Гриша так сказывать любил. Жили-де на небе Бог со своими ангелами да двумя архангелами. Один сметливый был, работа у него спорилась. Бог его на отличку держал и Сатанаилом кликал. А другой увалень был неповоротливый, его уж Миха кликали. А тут у Бога треба такая появилась: на землю спуститься, посмотреть, как всё после сотворения мира устроилось. А за то время, пока по земле бродил, Сатанаил начал ангелов бунтовать, чтобы против Бога пошли. Он, вишь, думал, что у него не хуже, чем у Всевышнего получиться может. А Миха всё примечал да супротивничал. Вот и не получилась у Сатанаила задумка. Вернулся Бог, от Михи всё, как было, узнал и низринул Сатанаила в преисподнюю да Сатаной кликать его стал. А тех ангелов, что супротив пошли, на землю грешную скинул. Которые в бани попадали, банниками стали, которые в леса — лешими, которые в реки и озера — водяными. Так сатанинское племя по земле и разошлось. А Миху в награду за верность Бог стал Михаилом кликать. Ему мы и по сей день молимся.

Вот так вот, молодой человек.



Послесловие

Прекрасен, причудлив и многообразен мир русского фольклора. В нём уживаются и святые, и грешники, и люди, и нелюди. Для каждого жизненного случая есть свои жанры, отражающие многовековой опыт наших предков. Былички и легенды относятся к числу самых интересных и мало знакомых неспециалистам жанров народной сказочной прозы. Быличка — рассказ о демонологических персонажах, таких, как леший, домовый, русалка. Легенда, в которой вместе с человеком действуют святые угодники, Богородица, ангелы Господни, закрепляет христианские воззрения, точнее, их народный вариант.

Между тем, былички и легенды представляют значительный интерес не только с точки зрения изучения народных верований, которые с успехом сочетают в себе древнее язычество и сравнительно молодое христианство, — для внимательного и непредубежденного исследователя сказочная проза даёт богатый материал и для изучения народной эстетики.

Поэтизация, одухотворение сил природы были свойственны человеку с давних времен. С одной стороны, природа давала человеку хлеб насущный, заставляла переживать радость первооткрывателя и покорителя. С другой стороны, она соперничала с ним, зачастую и побеждала. Именно такое двойственное отношение и породило сложив-

шуюся систему взаимодействия человека и природы. Окружающий мир персонифицировался в конкретных формах и персонажах, в образах демонов воды и леса, дома и бани...

Кроме того, в рассказах этих раскрываются моральные и этические принципы нашего народа, отношения в семье и крестьянской общине. С раннего детства они служат одним из главных методов воспитания нравственного человека. Разумеется, полностью переносить в современный быт все эти каноны нельзя, ведь некоторые из них отражают те стадии развития общества, которые ушли безвозвратно.

К сожалению, мы открываем для себя этот неисчерпаемый источник только сейчас. Довольно долго на него существовал негласный запрет. Рассказы эти воспринимались только как отражение религиозных воззрений и суеверий, с которыми был призван бороться воинствующий материализм. Жизнь же оказалась значительно сложнее идеологических догматов. И произведения народной нескладочной прозы, с заключенными в них верованиями, эстетикой, этикой и моралью простого человека, продолжали сохраняться и существовать в самой толще народной жизни. Причина такой поразительной живучести традиционной культуры лежит в самой ее природе. Эта культура многомерна, она охватывает все сферы жизни человека, что делает ее практически неуязвимой перед лицом времени.

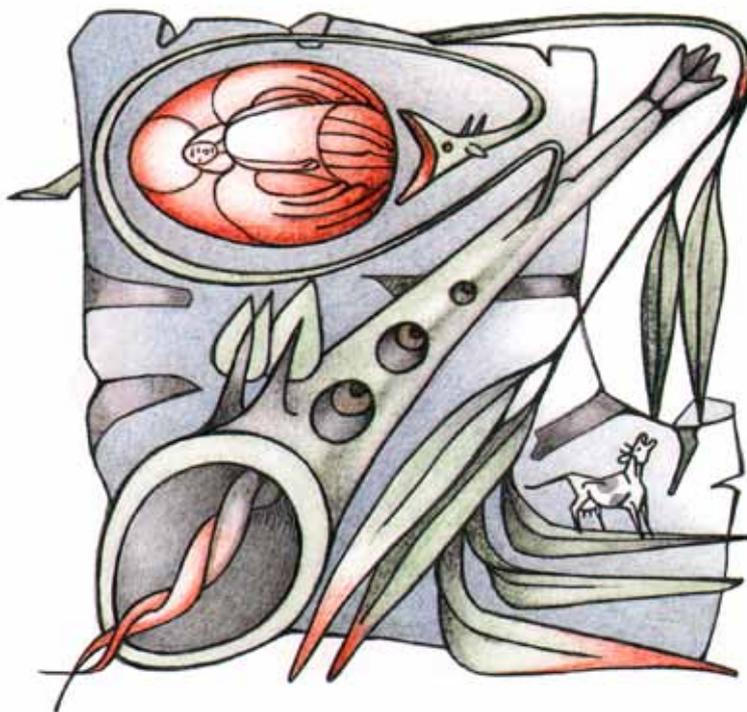
«Страшные сказки» построены на реальных сюжетах быличек и легенд, которые до сегодняшнего дня живы в народе. Количество использованных сюжетов достаточно велико. Их около ста двадцати. Конечно, былички и легенды деда Егора значительно отличаются от оригинальных записей. И вот почему. В практике сказительства в рамках одной традиции люди, подобные рассказчику-повествователю, встречаются крайне редко, хотя прототип его — житель деревни Петрецово Чердынского района Пермской области Егор Иванович Пашин — действительно является блестящим знатоком былички и легенды; в его репертуар входит значительная часть сюжетов, легших в основу книги. Но не все. Дело в том, что в естественной ситуации бытования рассказы, как правило, соединяются по тематическому принципу. Сначала собравшиеся рассказывают только о леших, потом — о водяных или русалках; при этом рассказчики постоянно меняются. Здесь же повествование ведется от одного лица, хотя тематический принцип построения отчасти сохраняется. Кроме того, рассказчики, как правило, исключают известные всем присутствующим детали, ведь для русского крестьянина нет нужды, к примеру, объяснять, что высокий мужик в красной рубахе — это леший. Информация подобного рода является естественной, что делает упоминание о ней излишним. Для читателя же она может быть не только интересной и полезной, но и совершенно необходимой. Не случайно поэтому автор прибегает к форме рассказа, адресованного человеку, мало знакомому с традиционной крестьянской культурой. К тому же, очень интересный устный рассказ, перенесенный непосредственно на письмо, многое теряет, становится маловыразительным без интонаций, мимики, жестуляции рассказчика. Вот почему, чтобы не произошло потери читательского интереса и не было затруднено восприятие текста, некоторые сюжеты подверглись значительной обработке и переосмыслению.

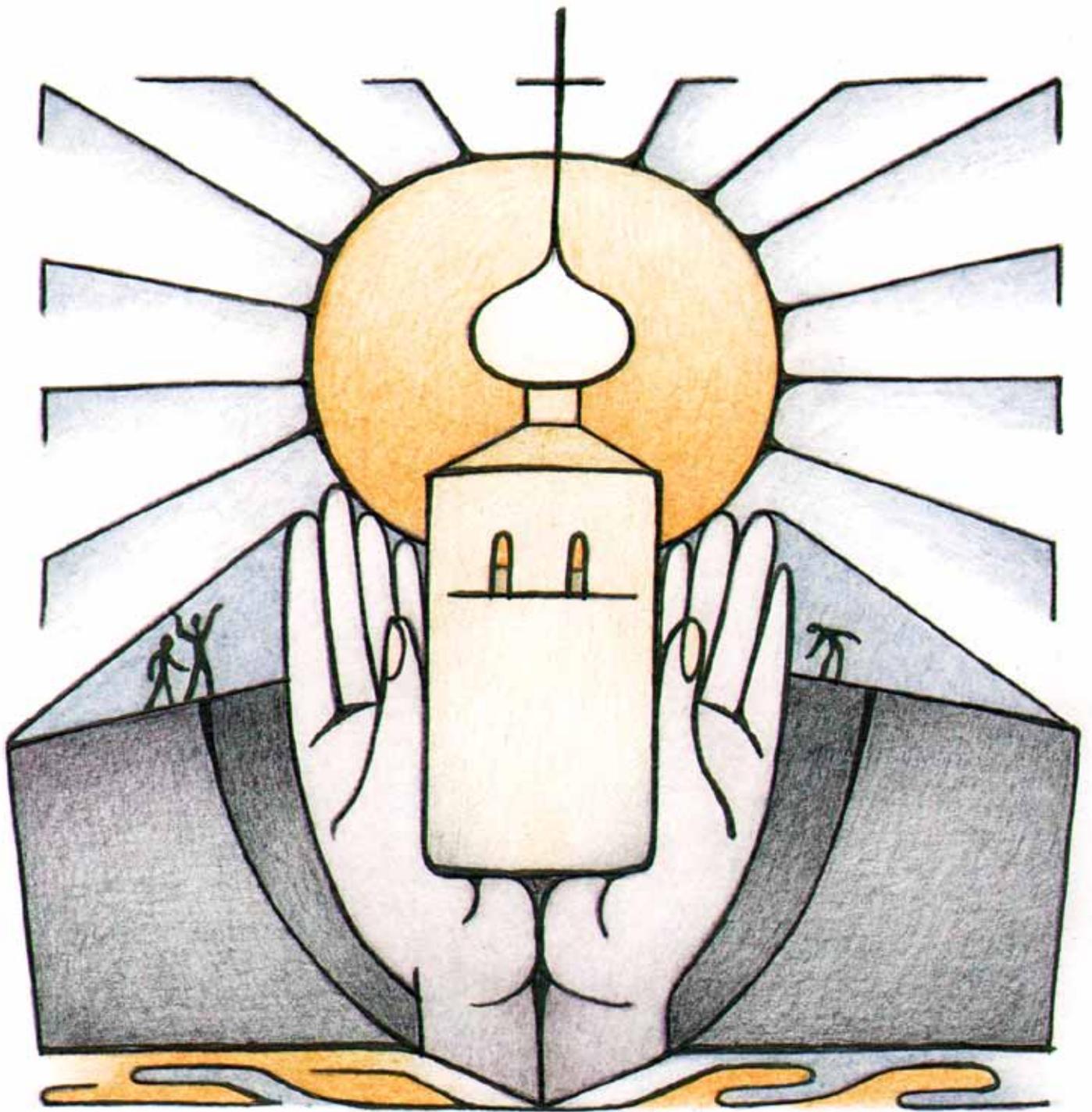
Персонажи, подобные Грише, деду Коляну, дедушке Карпе, являются собирательными образами, объединяющими в себе реальные и вымышленные черты, свойственные колдунам и знахарям в народных представлениях. Некоторые детали их жизни, их поведения в реальной практике сказительства не встречаются. Они выбраны для более четкой прорисовки характеров, что не свойственно несказочной прозе да и фольклору в целом. Фольклорная действительность знает типы людей, но не их точные психологические характеристики.

Не характерен для народной прозы и диалог. Поэтому разговоры вводятся автором также в нарушение устной традиции. Да и некоторые повороты сюжета, поступки героев базируются скорее на литературной, чем на фольклорной традиции. При этом они остаются генетически связаны с представлением человека о духах природы, о христианстве, а жизни.

Степень соответствия «Страшных сказок» фольклорной традиции измерить трудно, хотя они, большей частью, основываются на реальных записях, сделанных в Прикамье. Есть ли необходимость в такого рода сопоставлении – решать читателям.

Константин Шумов.





Рассказы

ЛАПОТОК

Банька была протоплена правильно, как мог делать это один только дед Василий. Дуняша любила присматривать, как занимался он этим немешкотным важным делом. Как подбирал ровные берёзовые чурки, пластал их на полешки, занимавшиеся затем жарким пламенем. Да и каменка, сложенная его заботливыми руками, держала пар долго, и был он таким тугим, что даже мясо отставало от сомлевших костей и туманилась голова — плыла в жарком мареве. Мало кто мог продержаться долго на полке, а непривыкшие и вовсе лезли под лавку или жадно ловили прохладную струю воздуха у распахнутой двери. Дед Василий сердился тогда на неловких парильщиков и мог неделями подковыривать их насмешливыми словами при случайных встречах. Зато банька славилась на всю округу, и хаживали к деду Василию знающие бабки, чтобы пользоваться в ней хворых и немощных людишек. Он не отказывал и не брал даже малую мзду за услугу. Одно только не терпел дед Василий — строго-настрога заказывал соваться в самый первый жар.

Но Дуняше до зарезу нужно было пройти в тот день наперёд всех. Вот и шмыгнула она крадом в узенький предбанник, суетливо сбросила с себя шубейку, сарафан и шитую рубаху — обнажила готовое уже к материнству тело. В бане в первый миг пробрал её странный озноб, который бывает только при быстром переходе из прохлады в

самый жар. И от него, прошедшего по всему телу крупной дрожью, стало неловко и страшновато — банька показалась непривычной и какой-то чужой. Хотя всё было, как заведено семейным укладом ещё при дедах и прадедах. Решив побыстрее закончить задуманное, Дуняша плеснула из ковша на малиновые калёные камни и зажмурилась от опалившего тело знойного воздуха. Дыхание сразу перебилось, и сердце застучало, казалось, о самые рёбра. «А ведь не продохну», — мелькнула страшная мысль, и раскалённый жар ворвался в лёгкие. Упав на плахи пола, девушка стала губами хватать живой воздух, не убитый ещё пламенем. Двигаться сил не доставало, и только стекло скляницы, обжигавшее ладонь, напоминало о задуманном деле. Дуняша приспособилась к обмякшему безвольному телу и стала собирать с него испарину в украденный у матушки пузырёк.

Сколько было нужно, она не знала. Удобнее всего оказалось собирать у самого живота, куда пот стекал ручейком, обтекая некормившие и не ласканные ещё груди. И даже здесь удивлялась Дуняша своему, как-то враз изменившемуся телу. Ещё недавно угловатое и худое, налилось оно неведомой силой, рвущейся наружу, но не находящей выхода. Это было сладко и томно, как впервые отпробованное густое тягучее пиво, сваренное матушкой. Хотя и раскраснелась от жара кожа, Дуняша не могла нарадоваться на ладно очертившиеся колени, располневшие бедра, округлившийся живот — так всё было приспособлено к самому главному в жизни женщины.

Вдруг она вздрогнула от чужого прикосновения к самой ложбинке между крыльями лопаток. Прикосновение было жарким и сухим — будто скребли тихонько скрученным берёзовым листом с остренькими коготками. Постепенно оно набирало силу и толкало к самой каменке. А там, в горящем чреве, блестели тусклым светом чьи-то глаза. Дуняша застонала от надвигающейся неизбежности и попробовала сбросить со спины напиравший берёзовый лист. Только острая боль пронзила её до самой последней жилочки. Разом вспомнила она бабкины рассказы о пропавших в банях бабах и девках, о людях с содранной наполовину кожей, затолканных невесть кем в самую каменку. Она пробовала отбиваться от шарящих по всему телу липких пальцев, но попадала только в пустоту. Страх пронзил тысячью иголками всё тело и толкнул прямо к скобе. Ещё шажок, ещё одно движение — и распахнутся плотно притворённые двери, впустят звенящий инеем январский воздух, и всё станет, как обычно. Потекут новые дни, приближающие хорошее и плохое — то, что можно и должно пережить. Если только не встанет на пути преграда. И ожил вдруг банный ожег, которым так удобно мешать угли в каменке, застучал опалённым своим концом по полу и наискось пересёк дверное пространство. Он метался в нём, не давая протянуть руку и коснуться спасательной границы между жизнью и смертью. Веки налились тяжестью, и разом пропал тусклый свет, струившийся из узкого банного оконца.

Дуняша разобрала только, как чьи-то сильные руки сдавили ледяным обручем грудь,

ухватили за ноги и поволокли куда-то. Кожа липла к полу, и было невыносимо больно, когда отставала она в быстром движении. Едва хватило силы разомкнуть спёкшиеся губы и зашептать единственное, что ещё могло спасти: «Матушка Богородица, пресвятая Дева Мария, блажен плод чрева твоего! Спаси мя и помилуй! Спаси!» Услышит ли, занятая своими непростыми делами, давшая жизнь младому Христу?

И тут же почувяла она, как отпрянули жёсткие ледышки чужих пальцев, как дохнуло прямо в лицо свежестью. В калёном колеблющемся воздухе возникло вдруг странное видение — масенький старичок с бородой кругом лица отмахивал от Дуняши кого-то, будто отгонял мух в жаркий полдень. И прямо на глазах рос он, вытесняя своим телом врага. И мяргнул кто-то за спиной, и спал жар, и мягкие руки обвили тело. Понесли, повлекли в спасительный холодный предбанник.

В память Дуняша вернулась только там — разглядела склонившегося над ней деда Василия. И тогда весь страх и бессилие человека перед неведомым прорвался горьким девичьим плачем. Был он тих — болело всё внутри: в горле царапало что-то сухое, гортань покрылась липким налётом спёкшейся слюны. В груди ныло и свербело сердце. «Что же это?» — подумала Дуняша и вдруг ощутила маленькую скляницу в сведённой судорогой ладони. Получилось! Хотя и плохо будет теперь от дедова вопросительного взгляда и матушкиных немых упрёков.

— Напарилась, девка? — только и спросил дед Василий.

— Досыта, — едва прошептала в ответ Дуняша.

— Ты, знать, напроситься забыла?

— Прости, деда, по недомыслию я.

— Вестимо так. Кто ж в первый-то жар лезет?! Не любит банный хозяин шибко смелых.

Самое ведь его это время. Он же тоже грязь с себя снять должен да распариться. А ты ему помешала.

— По недомыслию я, прости меня, деда.

— Вот заладила, тёлка. Сама-то идти сможешь?

— Отдышусь и пойду. Только как ты меня услышал, деда?

— Не слыхал я тебя, девка. Снег сбросить пошёл да и увидел, что дверка пола. А там уж и тебя.

Дуняша вспомнила вдруг незнакомое лицо с бородой кругом и подивилась про себя, решив не сказывать деде о неожиданном спасителе. Дед поворчал ещё немного, но уже за дверью. Смутило его налившееся девичье тело, и страх уступил место стыду — внучке нужно было одеться. За дверью подумал он, что нужно перенести баньку на другое место — поближе к жилью, чтобы не было больше тревоги. Давно знал он о каверзах банного хозяина, но сам никогда не ссорился с ним, уважая и ублажая в силу своего разумения. Запаривал для него веники, а они оставались потом едва живые, исхлёстанные до веточек о крепкое тело. Не приходилось деду

Василию самому встречаться с банником, но рассказов он наслушался много.

В избе они, не сговариваясь, скрыли случившееся от матери и чинно присели за стол. Мать хлопотала, готовясь к баньке, и была несказанно удивлена, когда Дуняша отказалась идти с ней.

— И ты бы не ходила, доченька, — попросил её дед Василий.

— А что такое?

— Да дюже угарно сегодня. В другой раз сходишь.

Мать не стала задавать лишних вопросов и занялась хозяйством.

А Дуняше нужно было довершить своё дело так, чтобы никто не догадался о задуманном.

Способ приготовления приворотного зелья выпытала она у бабки Долганихи — доки по этой части, принимавшей чуть не всех младенцев в деревне. Говаривали ещё, что много на её совести семейных ссор и бабьих слёзок. Грозилась тяжко жившие с мужиками, что отольются на том свете Долганихе каждая слезиночка, каждый лишний мужнин тычок или затрещина. Но побаивались её, как знающую и много умеющую старуху. Матери чуть не пороли своих девок, бегавших тайно к старой ведунье, но поделаться ничего не могли. Долганиха была неуязвима для их гнева, помня наперечёт все девичьи тайности солидных уже баб и даже своих одногодок. Потому-то и дала она, поломавшись по обычаю, и способ получения зелья, и слова к нему за невестившейся Дуняше. Правда, не без корысти, получив с девки пяток свеженьких яиц.

Едва дождалась Дуняша самого подходящего времени на святки для присушивания. Только на ком испытать силу, она долго не могла решиться. Парни были ладные в деревне — один Сенька-малодурок пускал слюни и не обращал на девок никакого внимания. Остальные поглядывали сторожко, норовя на гулянках задеть руками, задержать их подольше у девичьего тела. Наконец, Дуняша остановила свой выбор на Митьше. Был он на завид другим парням — сильный, умелый уже в крестьянской работе, весёлый на празднике. И, как прознали девки, именно ему доверили старшие парни срядиться на игрищах в Атамана. В «Шайку» играли так давно, что даже самые старые не могли вспомнить, когда пришла эта любимая всеми игра. Готовились к ней загодя — поправляли костюмы, слежавшиеся за год в сундуках, вырезывали новые деревянные шашки для лихих разбойничков, сговаривались с одинокими на откуп избы.

Этим-то временем и решила попользоваться Дуняша, чтобы присушить приглянувшегося парня. Оставалось только довести зелье. Дело оставалось за немногим. Нужно было набрать в голбце тенета, сжечь их на венчальной свече, добавить толчёный мышинный помёт и замешать всё на собранной испарине. И уже над этим зельем прошептать затверженные на память слова, подсказанные бабкой Долганихой. Вот и пыталась Дуняша выбрать предлог, чтобы спуститься в голбец. И он нашёлся, когда за трапезой дед Василий запросил квашеной капусты, славившейся в деревне за ядрёный и пряный вкус, за крепкий рассол и приятный хруст на зубах. Дуняша быстро выскочила из-за стола и загремела с миской в руках в западёнку.

В голбце тянуло плесенью и ледяным холодом. Она зажгла огарочек, накрутила на припасённую щепочку тенёта, набросала капусты в миску. Дело было почти и закончено — оставалось только вынуть припасённый помёт и сотворить зелье. Было Дуняше неловко, но любопытно, и всё, что делала она, помогало хоть как-то погасить рвущуюся наружу силу, успокоить, приблизить минуту её торжества.

Небольшой задержки в голбце не заметили ни мать, ни дед. Оттрапезничав, они завели разговор о нескором пока, но приближающемся севе, о припасах, оставшихся до урожая, — порадовались, что должно хватить с лихвой и не придётся трогать семенной запас. Редкий год получалось так удачно, пожалуй, последний раз тогда, когда загнули оба сына и мужик — не вернулись с вышедшей из берегов реки, где пытались добыть топляки, да, видно, не рассчитали сил. Река поглотила всех троих, не отдав даже тел, чтобы предать их земле. Это несчастье тяжким грузом придавило деда Василия — согнуло его всегда прямую спину и опустило широкие плечи. Сватов, пришедших к невестке через год после пропажи, он просто спустил с крыльца, пригрозив вслед кулаком: «Жив сын, жив! Пока тело его не увижу своими глазами — не видать вам Дарью, как своих ушей! Проваливайте да дорогу сюда забудьте!» Люди поняли деда, не осудили, зная его крутой характер. Но не вечно же будет успевать он по всем делам — и его силам есть предел. Значит, ждать скоро новых сватов. Только уж не к Дарье, а к Дуняше.

Пока шёл разговор, Дуняша прокралась за печь, где была припрятана склянка с испариной, вынула из свёрточка помёт и щепку с тенётами, сожгла их на огарке матушкиной венчальной свечи и замешала зелье. Долго потом всматривалась она в мутную жидкость, пыталась представить, каков окажется избранник, беспокоилась за будущую свою жизнь. И не зря — не раз приходилось слушать ей рассказы о незадачливой жизни за мужиком тех баб, что в девках приколдовывали, присушивали тайно завидных парней. Смертным боем били их избранники, уходили в тяжёлые запои, напропалую гуляли с солдатками и вдовушками. И пожаловаться было некому. Не принимала дурную бабью слезу Матушка Казанская Богородица, верно, чуяла ложь и ведовство, и помощи тем бабам ждать было не от кого. Но Дуняша решила, что это не про неё сказано, ведь хранит же её девичество кто-то сильный, оберегает от напастей и каверз.

Грядущий день показался ей самым подходящим, чтобы свершить задуманное. Оставалось только дожждаться глухой полночи, чтобы прошептать страшные слова — иначе не будут они иметь своей силы, и ничего путного не выйдет из всей затеи.

Матушка и дед Василий улеглись рано, и Дуняша, пристроившись на лежанке у самой двери, силилась не уснуть за то время, что оставалось до полночи, но не сдержалась — сморил её молодое тело и беспокойную голову сон — отрывочный и беспонятный. Снилось Дуняше баня, их, родная, но странная и неузнаваемая. Была она велика и рублена из камня. Те же брёвна, только тяжёлые и холодные могильной стылостью. Алтарём возвышалась каменка с пылающим в нутре огнём. Всё было, как в церкви, только недоставало икон и скорбных ликов святых.

Вместо них были голые холодные стены, испещрённые таинственными загогулинами вместо букв. И вдруг распахнулась каменка и вышел оттуда опалённый нестерпимым жаром мужик – не мужик с бородатым лицом, в армяке, но на коровьих мохнатых ногах. Глаза его светились тусклым огнём, прощупывали душу до самого доньшка, добрались до заветной скляницы, и страшное лицо расплылось в улыбке. Внезапно появившиеся юркие парнишки ухватили Дуняшу за руки, бросили на холодный пол и стали срывать холщовую рубаху. Сил сопротивляться не было – все они вышли через небольшое пятнышко величиной с сухой берёзовый лист на спине. Сейчас пятно жгло и пронзало болью всё тело.

Мужик на коровьих ногах забрался в банную шайку и гнусавым голосом затвердил незнакомую молитву. Юркие парнишки подали ему рукомойник с тлеющим куриным помётом. С другой стороны под руку с перепончатыми пальцами подвели они треснувшую корчагу с какой-то жидкостью. Мужик смрадно кадил рукомойником в сторону Дуняши и гнусил всё чаще и чаще. Потом он зачерпнул лапой жидкость из корчаги и начал обильно кропить обнажённое тело распростёртой перед ним девушки. Жидкость растекалась бурыми пятнами на груди, на животе, скатывалась по бедрам и пятнала пол. Дуняша закрыла глаза в ожидании самого страшного.

Но тут появился давешний её спаситель с бородой кругом старого лица, выхватил из-за пазухи невеликий комочек и развернул над Дуняшей шёлковую ризу. Шёлк мягко обнял истрадавшее тело, и боль унялась. Дальше Дуняша видела только, как поплыли и растеклись фигуры мужика на коровьих ногах и юрких парнишек. Потом рассыпалась по брёвнышкам баня, и Дуняша почувствовала ледяное прикосновение снега. От того и проснулась.

Заглянувшая в окно луна указала, что полночь уже наступила и пора довершить задуманное. Сон сразу забылся, и Дуняша, накинув шубейку, отправилась на задний мост. Она решила, что там будет самое место для свершения тайного грешного дела. Морозный воздух крытого двора охлаждал голые коленки, пробирался сквозь поры надетых на босу ногу лаптей. Беспоясна, без креста, с распущенными волосами вышла на двор Дуняша и стала разом похожа на молодую ведьму, творящую первое своё чёрное дело.

Дуняша зашептала слова бабки Долганихи, и застывшие лапти поскрипывали в такт им – девушка переминалась с ноги на ногу от пробирающего морозца. Слова звучали глухо и оседали в воздухе белесым паром над самой скляницей.

Стану я, раба божия Дуня, благославясь,
Пойду, перекрестясь, из дверей в двери,
Из ворот в ворота, со двора на двор.
Выйду я, раба божия Дуня, в чистое поле,
В подвосточную сторону, под светел месяц.
В подвосточной стороне, под светлым месяцем
Стоит изба-избушка с четырьмя окошками.

Среди избы лежит доска, под доской Тоска.
Плачет Тоска, рыдает Тоска, белого света дожидается!
Белый свет красного солнышка дожидается,
Радуетя и веселится!
Так бы и меня, рабу божию Дуню, дожидался,
Радовался и веселился раб божий Митрий.
Не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни пить
Ни на утренней заре, ни на вечерней.
Как рыба без воды, как младенец без матери,
Без материна молока, без материнной груди,
Без материна чрева жить-быть не может,
Так бы раб божий Митрий без рабы божьей Дуни
Не мог бы ни жить, ни быть, ни есть, ни пить
Ни на утренней заре, ни на вечерней заре,
Ни в обыден, ни в полдень.
Ни при частых звёздах,
Ни при буйных ветрах, ни в день при солнце,
Ни в ночь при месяце!
Впивайся, Тоска, въедайся, Тоска, в грудь!
В сердце, во весь живот рабу божию Митрию,
Разрастись и разродись по всем жилам, по всем костям
Ноетой и сухотой по рабе божьей Дуне!

Дело было сделано, и Дуняша с облегчением вернулась в избу, под тёплое одеяло и привычные образа. Дед Василий уже ждал её, поднявшись на локте в своей постели.

— Двери-то плотно притворила, Дуняша?

— Плотно, плотно, деда. Спи, родной.

— Да что-то сон перебило. Покалякай со мной, внученька.

Дед смотрел на Дуняшу долгим взглядом, пытаясь понять, чем так встревожена девка. А та старательно смотрела в сторону, будто боялась показать глаза.

— Ты чего выходила-то?

— Да на задний мост, деда. Сам, поди, знаешь, зачем на задний мост ходят? По нужде.

— Ладно, коли так. Хошь расскажу тебе сказенёк, как с девками-то бывает?

— Хочу, деда. Сказывай.

— Ну, слушай. Старые люди рассказывали, давно это было, уж и не упомяну где. Жила девка одна, в бога веровала. Мать у неё строгая была — в чистоте её содержала, по вечеркам

шастать не позволяла. Так бы и дожила она до мужа без хлопот, но на то время случилась в деревне колдунья зловредная. Ходила она по селам и посадкам, слабых людишек выискивала, с пути истинного сбивала. А чтобы не раскрыли её вредности, надела она клобук монашеский, посохом опиралась — вроде как на богомолье идёт. Вот и принимали её люди как святую. Так ведь положено у нас со странниками — не оскудеет рука дающего. В той деревне она на постой к самым набожным напросилась. Так и получилось, что к девке этой с матерью попала. Жила у них тихо, молитвы творила, только слов не разобрать. И захотела колдунья к девке прикоснуться, отдать её душу дьяволу. Для того у неё много припасено было хитромудростей.

Вот раз, когда матери дома не было, заговорила с девкой колдунья. Стала расспрашивать тайны её: кого на сердце держит, с кем дружбу водит. Та чистосердечно всё рассказала, как на исповеди. Это ж понятно — люди колдунью за монашку принимали. Пообещала гостя ей слова дать божеские, чтобы парня приглянувшегося за собой укрепить. У девки-то, видать, глаза застило. Согласилась она. А чтобы люди не прознали, повела её колдунья в амбар старый. Как пришли туда, она её опоила снадобьем зловредным, заставила делать всё, что повелит. А вместо имени суженого сатанинское подсказала говорить. Пришёл сам сатана, сотворил с девкой блуд. Ему девки и бабы сырые, после родов — самая сласть. Колдунью отблагодарил, а девке память отнял.

Ушла монашка дальше по деревням пакостить. А время прошло, стала мать замечать, что у девки брюхо растёт. Осердилась она: вроде, ни куда вольно и не отпускала, при себе всё время держала, а тут такая напасть. И девка слезьми ревет, воеет — не помнит ничего. Чтобы от людей укрыть грех, отправила мать дочь свою согрешившую к дальней родне. А в тётках у неё знахарка была знающая. Как приехали, повела тётка её в баню — пыль дорожную смыть. Стала ополаскивать, а у самого пупка маленький такой знак разглядела — вроде воробушек лапку свою приложил. Испугалась тётка. Ведь лапа птичья — и есть печать сатанинская. Всё, как было, поняла она. Да время уж упущено плод травить. Никакая бабка за такое дело не возьмётся. К батюшке идти тоже нельзя — не жалуется он знахарок да и навряд ли поверит. Собрала она тогда по окрестным деревням знающих людей, стали совет держать. Все книги божественные перечли, и в одной было сказано: сойдёт на землю Антихрист, и зачат он будет во блюде от набожной девки. Один только способ и есть уберечь род человеческий от беды — это отпеть живой девку понёшую, отпеть плод её. И перед самыми родами нужно зажечь семь свечей, у них семь яиц пасхальных положить, иконы на божнице ликом к стене повернуть. А когда появится младенчик, нужно его до матери не допускать, чтобы ни капли молока материнского на губы не попало. И зарыть нужно его живым на росстани, чтобы прохожие и проезжие землю над ним плотно убили.

Всё так и свершили знахари. Хотя и тяжело было, а довели дело до конца. И всё бы ничего, да только на третий день нашли они яму разрытую на самом перепутье. А младенчика в ней

уже и не было.

Так вот старые люди рассказывают.

— Страсть-то какая, деда. А с девкой-то что приключилось?

— Интересуешься? Было с ней вот что. Как узнала, какой смертью лютой кровь её погибла, умом тронулась. Стала по дорогам ходить, кликать младенчика своего.

— А младенец-то куда делся?

— Ничего про это не рассказывали. Может, тоже по дорогам бродит по земле нашей. А, может, и сгинул, кто его знает. Ладно, хватит об этом. Спи, внученька. Твоё дело молодое, это мне уж на покой пора, каждая минутка на счету.

И дед Василий замолк на своей лежанке. Слышно было только его дыхание с хрипотцой. А Дуняша всю ночь спать не могла, всё думала, как же быть ей со скляницей заветной. Но потом решила, что слова у неё правильные, и никакой сатана ей не страшен. Упрямые девки — коли что задумают, трудно их в сторону сбить.

Поутру, убравшись в избе и на дворе, Дуняша сказала, что пошла к подругам, а сама тихим шагом направила стопы свои к откупленной на святки избе. Непокойное сердце точно подсказывало, что Митьша там, готовит всё к вечернему игрищу. Так и оказалось. Он сидел у тёплой печки и достругивал деревянную шашку, которой предстояло вечером сразиться с главным недругом Атамана. А ещё нужен был туес с кваском. Его подавала Атану Анята, когда пели маскарены последние слова из песни:

Тут Анята выходила,
Графин водки выносила,
Стокан водки наливала —
Атану подавала.

И, верно, подавала, только не алую водочку, а простой квас. Да и Аняту играл срядившийся парень. Всё в этой игре было понарошку, не по настоящему, но интересно. И сейчас Дуняша задумала простенькую девичью хитрость. Она вошла в избу, обтряса в сенях катанки, и ласково заговорила с Митьшей.

— Здравствуй, Митьша. Никак работаешь?

Митьша посмотрел на вошедшую девушку, глаза его радостно блеснули — он даже остановил свою работу ради неожиданной гостьи.

— Здравствуй. Работаю вот. Вечером приходи — «Шайку» играть будем.

— Приду, спасибо. А всё ли готово у вас?

— Да, вроде. Шашку сейчас доделаю, гуни уже все перетряхнули, поправили, где надо.

— А квас-то есть?

— За ним задержки не будет. А чего спрашиваешь?

– Ты, поди, знаешь, что наш квасок на всю деревню славится. Вот и хотела помочь, ежели что не готово. Да и твеса у нас баские – дед Василий на них листики да веточки вырезывает.

– Ладно, неси свой твес.

И тут Дуняшу как подтолкнул кто-то. Дело было сговорено, и пора было уходить, но что-то остановило её, заставило вступить в незнакомую ещё игру. Она не ушла, а выступила в самую сердёдку избы, распахнув шубейку. В груди у неё сладко сдавило, и даже голос зазвучал мягко и глубоко.

– Жарко тут у тебя. Протоплено.

– Да где же жарко, Дуняша? – начал было Митьша, но осёкся. Перед ним стояла совсем другая девка, не та, которую знал он ещё по детским играм, лупил иногда, обидевшись, но не сильно. Только сейчас заметил он, как раздалась в груди Дуняша, как округлилось ещё недавно острое скуластое лицо, как мал был ей девчоночий сарафан, морщившая обычно кофта разгладилась.

– Жарко, Митьша, – совсем перешла на шёпот Дуняша и отбросила шубейку на лавку. Тот застыл, не зная, что делать. Перед ним стояла совсем взрослая женщина, вовсе не похожая на привычную Дуняшу. А она повернулась к заиндевавшему окошку, поведя округло плечами, закинула руки за голову и стала разглядывать морозные письма. Пальцы она запустила под толстую косу, тоже ещё совсем недавно тоненькую и незавидную.

И тут Митьша сделал два неровных шага, приблизился к девушке и обнял её со спины. Дуняша замерла. Пальцы сначала осторожно, потом всё уверенней пробирались к самому краешку проймы на груди – совсем на границе толстого шва и мягкой кожи. Неловко, с дрожью, запускал Митьша свою ладонь всё глубже и глубже, приподнимая тихонько тонкое полотно. Слегка влажная кожа девушки, таившаяся под ней плоть становились всё мягче и податливей. Митьша совсем было взял в руку эту податливую плоть, но тут Дуняша почувствовала, наконец, влажную дрожь. И всё вспомнила. Липкие пальцы, шарившие по всему телу, от которых не было спасения, опалявший холодный воздух, тускло светящиеся глаза в каменке. Она резко развернулась и в упор посмотрела Митьше прямо в лицо. А тот уже осмелел и плотно притянул Дуняшу своими сильными руками. Но она вырвалась, схватила шубейку и кинулась к двери. Вслед смотрели насмешливые глаза, и летели такие же насмешливые слова, ожёгшие сильнее банного воздуха, что бывает только в первый жар, в какой нельзя ходить человеку.

– Твес-то с квасом не забудь, обещалась ведь!

Домой она почти что бежала. Лицо пылало от стыда и даже студёный воздух не белил его. К Митьше не было ненависти, но чувство сладкой мести билось в груди, и она повторяла и повторяла одни и те же слова бабки Долганихи: «Впивайся, Тоска, въедайся, Тоска, в грудь, в сердце, во весь живот рабу божию Митрию... Впивайся, въедайся... Впивайся... Въедайся...»

В избе она сказала, что пойдёт вечером на игрище, как и было договорено, и попро-

сила для «Шайки» самый красивый туес деда Василия. Он не отказал — помочь маскаронам было почётно для любой семьи, которая не гнушалась этой старинной забавы. Дуняша налила в туес квасу, чтобы было его не очень много и, выйдя в сени, влила туда припрятанное зелье. Теперь Митьше деваться будет некуда, и сладкая месть стала неотвратимой, как кара небесная, положенная за работу в Ильин день.

Испугалась Дуняша, что неловкое сравнение вызвало страшное воспоминание, и снова закрался в её сердце червь сомнения, пробужденный ещё ночным сказеньком деда Василия. Да и неспроста было случившееся в баньке, и удушливый предполуночный сон. Но ведь кончилось всё счастливо — не достал её банный хозяин; не наказал за девичью глупость. Да и во сне спас кто-то от напасти, прикрыл шёлковой ризой пресвятой Матушки Богородицы. Дуняша была уверена, что риза была её — кому больше заступиться за девушку, как не Деве Марии. Её это крест и святая обязанность — разбирать дела сердечные, жалобы девичьи, предохранять от каверз. А с той, из дединова сказенька, случилось непоправимое из-за скверной наушницы, подтолкнувшей к бездне греха. Не могло такое быть с Дуняшей!

Она успокоилась и укрепилась в задуманном. Весь день, хлопоча по хозяйству, прислушивалась Дуняша к собственному сердцу: что-то скажет, чем утешит и успокоит. Сердце билось уверенно и спокойно, кольнуло только, когда нужно было собираться на игрища. Дуняша пошла пораньше, чтобы передать загодя туес. Она успела ко времени, когда маскарона уже стали переживать, принесёт ли девка обещанное. А Митьша и вовсе не думал увидеть её в этот вечер. Но она пришла, была ровной и спокойной со всеми. И парни по секрету сказали, что на сей раз они придумали для «Шайки» такое, чего никогда не бывало в их деревне. Дуняша выслушала их невнимательно — совсем другое занимало её в ту минуту: как бы не отпробовал кто другой квасу из принесённого туса. Но парни поставили его на лавку к самой печи среди другого необходимого для игры скарба и забыли на время.

Народ уже подбирался: слухок о придуманном парнями секрете прошёл по деревне, и людей набилось больше обычного. Пришли даже степенные матери немаленьких семейств, обременённые хлопотами по дому. И вот игра началась. Неожиданным было уже то, что парни погасили почти все свечи и натканные по стенам лучины, и в избе воцарились сумерки, не разбавленные даже задержавшейся за облаками луной. И тут скрипнули двери, показался маленький мерцающий огонёчек и две белесые тени. Одна из них фыркнула на свечу, и прямо на зрителей полыхнуло пламя. «Ратуйте!» — раздался сдавленный бабий голос, но враз загорелись свечи и лучины, и люди увидели Атамана и Есаула.

— Крепок ли мой табак, Есаул? — зычным голосом спросил Атаман.

— Крепок, крепок, могучий Атаман, как твоё ярое сердце.

Задумка понравилась, и зрители зашумели. Дальше игра шла, как положено, вплоть до того момента, когда Анята подавала Атаману туес. Сердце Дуняши упало в этот миг на самое

доньшко. Но неожиданное препятствие встало на совсем было завершённом пути. Угланы, пришедшие всем гуртом в избу, толпились в сенях за порогом. Тёрся между ними чужой чей-то кобель. Вокруг морды торчком стояла белая шерсть, и глаза сверкали в полутьме сеней. В тот самый момент, когда Атаман подносил уже туес к губам, вырвался кобель из слабых ручонок и бросился к Митьше.

Туес выпал из рук от сильного удара собачьих лап и покатился по полу. Дуняша чуть не заревела с досады в голос. Не дождавшись конца игры, вытащила она кобеля за загривок на улицу и принялась неловко бить его по спине занемевшей рукой. Но кобель стоял спокойно, покачивая почему-то головой. Тогда Дуняша в сердцах схватила попавшееся под руку полено и огрела кобеля по лапам. Он закрутился беззвучно на месте и вдруг пропал. А Дуняша ушла домой, всхлипывая с досады, что такое верное дело вдруг не заладилось из-за паршивого пса. Чем кончилась игра, что случилось с её туесом, она уже и знать не хотела. Обида душила и мучила девушку.

А святки уже заканчивались, и Дуняша твёрдо решила хотя бы узнать, что ожидает её в ближайший год. Для этого нужно было немного: свеча, два зеркала и блюдце с водой. И ещё – доброе расположение домового. Вершить таинство гадания нужно было в его владениях. И Дуняша решила загодя задобрить старого, нянчившегося с ней ещё в колыбели Ивана Кузьмича. Такое у него было прозвище. Ещё в те времена, когда лежала она в колыбельке, тараща бессмысленные глаза в закоптелый потолок, успокаивал и утешал её ласковый Иван Кузьмич. Оставленная на попечение старших братьев, вечно затевавших свои шумные игры, Дуняша быстро лишалась их заботы. Но, удивительное дело, – забегавшиеся братья всегда находили сестрёнку сытой и спокойной – будто бы была она под покровительством заботливой мамки. И ещё запомнила Дуняша его добрые, похожие на дедовы, глаза и странные, но удивительно спокойные, вовсе без слов, колыбельные песенки. Их она ни за что бы не спутала с теми, что пела матушка о сером котике, валенках и лапотках. И сейчас, когда задумывалась она о предстоящей жизни, очень хотелось, чтобы чадо её слушало те же песенки, которыми байкал её домовый.

Жил он в голбце так давно, что не упомнит никто момента, когда появился Иван Кузьмич в избе. Только от поколения к поколению передавали в семье, будто раньше был другой домовый. И жил он тоже долго, но стал неповоротлив и ленив. Даже скотина оставалась ночами некормленной и стала подвержена всяким болезням и испугам. А о том, чтобы плести косы лошадям, и разговору не было. Совсем плох стал предшественник Ивана Кузьмича, и тогда появился он, хозяйственный и молодой. Только место пришлось отвоёвывать – так привык к частым подношениям и блаженной лени старик. Силой мерились недолго – Иван Кузьмич побил бывшего хозяина и воцарился в доме единолично. С годами приобрёл он степенность, не летал уже по избе, как в молодости, не пугал обезумевших от его присутствия кур и взятых

на зиму в избу ягнят. Всё делалось несуетно и прочно. Оттого и любили его все поколения, жившие в избе, доверяли и немного побаивались. Бояться было чего — Иван Кузьмич лучше других чуял обман и тогда выказывал крутой свой норов. Стоило хоть одному прибегнуть ко лжи — сразу ночами поднимались половицы, скрипели и угрожали обрушиться подати и сыпался мусор из-под матицы. Так же выпроваживал он нехороших гостей, замысливших худое дело. А коли домовая выживает, с этим уж не совладать.

Потому-то и побаивалась Дуняша немного Ивана Кузьмича, что дело её было не самым честным, и хотела поскорее задобрить. За годы постоянного общения в семье уже знали, чем можно угодить домовому, и всякий раз поздравляли его с праздниками нехитрым угощением. Родится ли в доме ребёнок, отелится ли благополучно корова, удастся ли урожай — всегда на ночь ставили у открытой западёнки, ведущей в голбец, круто присоленный хлеб, луковку и маленький стаканчик бражки. А по самым большим праздникам добавляли к подношению лоскут красной материи. Сказывали старшие, что шил из него Иван Кузьмич колпак, в котором и хаживал всё время. Но материя-то не вечная, вот и приходилось колпак обновлять, когда нужда заставляла.

Дуняшу Иван Кузьмич полюбил и выделил среди всех остальных сразу, ещё с рождения. Даже деда удивлялся, как ухаживал он за девчонкой-недоростком — заботливо поил молочком из коровьего рога, когда мать была в поле, качал в колыбельке и даже отгонял мух. А когда увозили Дуняшу гостевать к родным, выл и всхлипывал ночами. Однажды и вовсе невиданное дело приключилось в их избе.

Дед Василий наготовил по весне лыка для разных хозяйственных поделок. Пока лыко сохло в тени, о нём стали подзабывать. Но когда пришло время, деда обнаружил пропажу изрядного пучка. Сначала он заподозрил внуков, тароватых на разные проделки, но те божились и готовы были землю есть, что не их рук это дело. Другим в доме было не до лыка, да и потеря-то невелика — вскоре забылась и она. Только через какое-то время лыко снова появилось, да не просто, а сплетённое в чудные лапотки, прямо по ноге Дуняше. Были лапотки не такими, как плели их в деревне: прямо и без затей. Неведомый мастер сделал их на косую колодку, с островатыми носками. И лыко было располосовано мельче, чем принято. Лапти получились на заглядение, бисерной работы. И были опушены они знакомой красной тряпицей, а шнурки свиты и вовсе так, как мог плести косы один только Иван Кузьмич. Поначалу Дуняшка нашивала их только по праздникам, опасаясь обидеть повседневной ноской. Но потом матушка заметила, что так и нога скоро вырастет, и придётся тогда забрасывать чудо-лапти на вышку, к другим использованным и никому не нужным вещам. Они хранились там из-за извечной деревенской привычки не терять заработанное потом и потому очень дорогое сердцу. Не случайно хоть раз в году забирался на вышку дед Василий и показывал Дуняше старые негодные вещи, имевшие когда-то своих хозяев. И получалось так, что рассказывал он больше о людях, владевших ими.

А лапотки и вправду оказались чудными. Росли они вместе с ногой, и пальцам никак не становилось тесно. Странно это, необъяснимо, ну да не всё на Божьем свете можно и должно объяснить. Дуняша просто носила их, не задумываясь над странностями и чудесами. А за этот подарок полюбила она своего покровителя и всякий раз старалась отблагодарить подношением.

Сейчас его нужно было не благодарить, а задабривать, чтобы помог, не осудил грешное занятие. То, что гадания были грехом, Дуняша слыхала на проповеди в церкви в соседнем селе. Но понять этого так и не смогла, помня рассказы матушки о гаданиях и разговоры других баб, когда собирались они на супрядках и калякали обо всем на свете. По её разумению, Иван Кузьмич не должен был осудить, но предостеречься всё-таки следовало. Вот и выставила она в голбец стакан бражки, круто присоленный ломоть хлеба и сшитый недавно из красного материала колпак. Самым трудным было сшить по размеру, и Дуняша долго допытывала у деда и матери, каков же обликом Иван Кузьмич, каков ростком, большая ли голова. Дед, видевший домового только раз много лет назад, так и не смог ничего толком разъяснить. Зато матушка уверенно и точно описала хозяйна. Его она видела дважды, а раз даже пыталась поймать за бороду.

Иван Кузьмич тогда начал проказить: не давал пить-есть даже бывшей своей любимице – корове Машке, – опрокидывал пойло и разбрасывал по двору сено. А тут ещё ночью однажды взялся давить Дарью, да так, что у той дыхание перехватило и не было сил ни охнуть, ни вздохнуть. Тогда-то она и успела спросить у него: «К худу ли давит». Иван Кузьмич выдохнул так: «К ху-у», и с досады Дарья ухватила его за бороду. А как раскрыла глаза, увидела маленького старичка, ростом с кошку, взгромоздившегося прямо на грудь. Иван Кузьмич брыкался и силился уйти с глаз долой. Пока ему это удалось, матушка успела разглядеть всё до ниточки. На ногах у Ивана Кузьмича были такие же, как у Дуняши, лапоточки, странно только, что надеты были неверно: правый лапоть на левую ногу. Онучи были чистыми и аккуратными, холщовая рубашонка с опояской тоже блистали чистотой. Одна только голова была несуразной – вовсе не подходила она к этому маленькому тельцу. Таким запомнила Дарья домового хозяина. И запомнила накрепко. Как раз после той ночи пропали на реке муж и оба сына. Знать, не к доброму приходил Иван Кузьмич – накликал беду, а, может, и хотел предостеречь. Да только как уберёжешься от напасти, когда не знаешь, откуда её ожидать.

В другой раз Дарья сбежала, не сдюжила, с поля к доченьке и увидела его, качающего колыбельку. Пел он ту странную песенку, запомнившуюся Дуняше с младенчества. Матушка не стала пугать его и потихоньку ушла.

Так что Дуняше ладить отношения с Иваном Кузьмичом было не трудно. Лапотки носились и не снашивались, в избе было чисто стараниями их обоих, а ночью, когда не могла заснуть, слышала она шёпот и шелест в самом голбце, и знала – это Иван Кузьмич бережёт покой их и сон. Подношение она спустила загодя, чтобы тот успел потрапезничать. Теперь

нужно было вновь дожидаться полночи и втайне от родных прокрасться в голбец, где всё уже было налажено для гадания.

Как и накануне, деда с матушкой уняли рано, намаевшись за день, и Дуняша лежала тихонечко, чтобы ненароком не разбудить их. Лежала без сна и всё думала о том, что случилось на игрищах. Был ли виновен кобель, как быть теперь с Митьшей. Жалко ей было тех страхов, которых натерпелась она в бане, — всё ушло зря. А, может, и не зря. Может, кобель стал просто послушным орудием в руках Божьих и предохранил от греха. Ещё вспомнила она то, как обнял её Митьша, как ласкал не по-отцовски, а по-мужицки. Наверное, есть ласки и послаще, но их ещё не знает Дуняша. Так и думалось ей — легко и спокойно. До той самой минуты, когда нужно стало спускаться в голбец.

В голбце она запалила свечу и с радостью обнаружила, что подношение её принято. Бражки в стаканчике почти не осталось, хлеб был обкусан мелкими зубками до половины, а колпачка не было видно. Знать, впору пришёлся на седую голову. Оставшееся полагалось доесть и допить самой, чтобы разделить трапезу. Тогда только можно было положиться на доброе расположение Ивана Кузьмича. Дуняша расположила одно зеркало у себя за спиной на кадке с капустой, а свечку, блюдце с водой и другое зеркало пристроила на бочке с огурцами. Сама же расположилась между ними и стала внимательно вглядываться в зеркало.

Неожиданно она увидела в нём бессчётное количество коридоров с арками. Коридоры убегали куда-то далеко, так далеко, что вдали в тумане терялся даже след от них и целой вереницы огней горящей свечи. Как сказывали Дуняше старшие девки, из этих-то коридоров и должен был появиться жених. Лицом будет — значит из своей деревни. Выглядывать только нужно, каков он, чтобы знать, кто определён судьбой в суженые. А вот если спиной пойдёт — можно дальше и не смотреть — муж будет из чужой деревни, и лица он ни за что не покажет. Бывало и так, что ничего не выказывалось в зеркале — значит, год ещё сидеть в девках несчастной.

Больше всего Дуняша боялась не увидеть никого. Это было позорно и обидно. А из коридора никто почему-то не показывался. Зеркало стало туманиться, а свечное пламя заметалось и погасло. Тут только вспомнила девушка о невыполненном условии. Крест нательный оставался при ней, а это предвещало обязательную неудачу. Девки сказывали ещё, что суженого кажут черти, а уж они-то ни в какую не появятся человеку при кресте. Исправив забытое условие, Дуняша вновь запалила свечу и стала ловить в зеркале вереницу коридоров и пламени. Поймав её, она до рези в глазах стала вглядываться в бездонную прорву. И тут на самом конце её закрубило облачко. В нём мелькали грозовые проблески, мешались все цвета. Облачко не вдруг, но приближалось всё явственнее. Вот оно стало приобретать контуры, очерчиваться, и перед Дуняшей проявилась мужская фигура. Пока понять было трудно: лицом или спиной. Фигура приближалась и укрупнялась. И видно стало, что идёт кто-то вовсе не так, как должен

идти суженый, а боком. Дуняша силилась понять, что ж означает такое, но не могла — ничего не говорили девки об этом.

А фигура всё приближалась и приближалась. Уже точно было видно лицо, повёрнутое боком и почему-то очень знакомое. Только вот где видала его девка, она не могла вспомнить. И тут внезапно тело пронзила боль, идущая от маленького пятна между крыльями лопаток. Дуняшу качнуло прямо на зеркало, и она сразу вспомнила свой ночной страх. Мужик был оттуда, из сна, из каменной бани — это он кропил обнажённое Дуняшино тело зловонной жидкостью и кадил рукойойником. От него укрыл шёлковой ризой неведомый спаситель. Дуняша хотела крикнуть, но разбившая зеркало лапа с перепончатыми пальцами страшно схватила за горло, чуть не вырвав его совсем. Вышедший из зеркала приблизил своё лицо к Дуняше. Он усмехался жутким образом, дёргал бровями, а нос его хищно шевелился.

— Вот я и добрался до тебя, девка!

Дуняша силилась ответить, но не могла. Сердце её трепетало, как осиновый листочек на ветру, а руки и ноги стали слабыми и бесчувственными. Будто целый сонм мурашей хлопотливо перебежал по всему телу. Дуняша выкатила глаза и стала умирать. Но быстрая её смерть, видно, не нужна была человеку из зеркала, и он ослабил свою хватку. Девка сползла, привалившись спиной к кадке, на земляной холодный пол голбца. Человек вышел уже весь и сидел, расставив ноги, прямо перед ней. Дуняша не могла понять, как он, такой большой, помещался в узеньких зеркальных коридорах, как выбрался оттуда, что хочет от неё.

— Что вам, дяденька, надо? — еле шевеля губами, прошептала она.

— Да вот, толковать с тобой хочу. О том, как обидела меня.

— А мне это без надобности.

— Ну, как же, ждала, звала суженого, а как он появился, отказываешься. Нам теперь с тобой на роду написано весь век вместе коротать.

— Да кто ж ты такой?

— Суженый твой. У нас ведь не так положено, как у человека. Не жених сватов засылает, а невеста. А ты ко мне сама дважды пришла. Так что теперь моя, не обессудь.

— Когда я приходила?

— В баню пришла — раз. В голбец спустилась — два. Другие-то девки, если жених не по нраву, зеркало захлопнут и с тем уходят. А ты меня дождалась. Значит, по нраву жених пришёлся.

— Да я ж по недомыслию, простите меня.

— Не-ет, что сделано, то сделано. Не ты первая, не тебе последней быть. У меня девки-то есть в услужении. Это когда роженка младенчика одного оставляет, мы его и прибираем. Или девка до свадьбы в петлю полезет — тоже наша будет. А таких, как ты, в жены берём. Жизнь у нас не тяжёлая — в услужении народу много. Знай только, людишек подкарауливай, которые Бога забыли да нас поминают не ко времени.

– И мне то же делать придётся? – ужаснулась Дуняша.

– И тебе. Только сначала очищение пройдёшь через огненный поток, через кровавый поток да через ледяной. Потом уж и свадьбу сыграем. Всё честь по чести.

– А в церкву-то как же? – удивилась девка.

– Ох, и дура ты, Дунька! У нас церква своя имеется. Да ты в ней тоже уже побывала. Вражина тебя ризой укрыл шёлковой, спас.

– Дак то ж баня была, – Дуняша уже отдышалась и лихорадочно соображала, что делать. Хотела было руку поднять для крестного знамения, но она оказалась налитой тяжестью. Хотела сказать «Да воскреснет Бог», да язык сковало льдом. Мужик с перепончатыми лапами усмехался и веселился глазами от нелепых этих попыток совладеть с несокрушимой силой.

– И не старайся, девка, не выйдет ничего. Не достанет здесь меня Господь ваш. Не его это владения, и не человеческие. Здесь только мы силу свою имеем.

Тут Дуняша вспомнила об Иване Кузьмиче, который заворчал вдруг и зашебуршал в своём углу. Она ойкнула, поднялась и крикнула: «Дядька Иван, спаси меня, родненький!». Пала под ударом мужика с перепончатыми лапами и остальное видела, как в тумане.

Иван Кузьмич заворчал громче, выбрался из своего угла и уставился в упор на своего неожиданного гостя. А тот радостно ухмыльнулся и протянул лапу, чтобы потрепать, погладить хозяина по бороде кругом морщинистого лица. Но тот увернулся и поднял правую свою руку. Была она обвязана окровавленной тряпкой. Большой мужик пошатнулся, как от удара, но усидел на месте. В ответ он только шевельнул пальцами, и Иван Кузьмич тут же кубарем покатился в угол. Но удержался и выскочил из него уже с ухватом в руках. Им-то и начал охаживать мужика домовой, но не касаясь. Соперник мотал головой из стороны в сторону, пока глаза его не сверкнули тусклым огнём. От него ухват съёжился и протёк огненным ручейком на самый земляной пол.

Иван Кузьмич лишился своего оружия, но не смелости. Как петушок-недоросток продолжал наскакивать он на своего недруга, а сам делал Дуняше рукой какие-то знаки. Она никак не могла уразуметь, что же ей надо делать. И тут только поняла – домовой отвлекал мужика с перепончатыми лапами, давая возможность укрыться девушке под образами или на печке. Дуняша кинулась к ступенькам, успев заметить, что Иван Кузьмич вцепился в лицо банному хозяину и стал одолевать. Соперник его начал съёживаться, уменьшаться в размерах и вполне уж мог пройти в дыру, пробитую в зеркале. Туда и загонял его, как метёлкой, тетеревиным крылышком, которым мазала сковороды матушка, Иван Кузьмич.

Что было дальше, Дуняша, выбравшись на волю, уже не видела. Одно только порадовало – матушка и дед спали без движения и вряд ли слышали возню и разговор в прикрытом голбце. Дуняша накинула крест, помолилась, попросила прощения у Матушки Пресвятой Богородицы и забралась на печь. На печи было тепло, сухо и безопасно. Девушка забылась сном. И он при-

шёл. Во сне Иван Кузьмич всё снимал со своей седой головы красный колпачок, кланялся и грустно посматривал на свою любимицу. Другое за ночь не пришло, и поутру Дуняша проснулась посвежевшей. Матушка удивилась, что она перебралась на печку, но Дуняша объяснила, что ей стало зябко, а печь держит тепло долго — до самого утра. Матушка поверила и принялась застряпню. Только дед Василий с сомнением покачал головой. Неверие его укрепилось, когда вынул он из голбца прогоревшую дотла свечу, блюдце и два зеркала — одно разбитое вдребезги. Но Дуняша сделала вид, что эти находки её не касаются и скрылась на двор ходить за скотиной.

Тут только она поняла, что святки кончаются, что матушка затеяластряпню уже к Крещению, и для гадания оставалось совсем немного времени. Слушаться она уже не успевала, смотреть в зеркало больше не хотела, курицу кружать — нужны подруги. Других способов она просто не знала. Что было делать? Но тут неожиданно на помощь пришла матушка. Она за трапезой вспомнила, как выгадывала жениха её бабка, и со смехом рассказала об этом. Нужно-то было немного — обутка и высокие ворота. Бабка по молодости бросала через ворота собственные катанки, а потом долго гадала, в какой стороне будет жених: оттуда, куда показал носок или голенище. И то и другое было неладно: носок уткнулся прямо в избу бездетной бобылки, а голенище казалось на собственный дом. Бабка тогда сильно расстроилась и больше не гадала. И ничего — не прошло и двух месяцев, как появились сваты.

Дуняша выслушала рассказ внимательно, но немного не поняла.

— Матушка, откуда же сваты должны быть?

— Как носок покажет, Дуняша. А чтоб не маяться, бросают обычно обутку без голенища.

С ней-то не перевернёшься — она всегда в одно место показывает. А ты что, попробовать решила?

— Да нет, я так.

— Ладно, коли так. Но ты не сомневайся — в том греха нет, чтобы обутку бросать. Это ж не сатану вызываешь.

Дуняша вспыхнула, но не подала виду, что задело её это. Как бы то ни было — решение найдено. Оставалось только взять обутку с носком и улучшить минутку, когда за ней никто не наблюдает. И тут ей пришли на память лапотки Ивана Кузьмича — они как раз подходили для такой цели. И были даже лучше, чем калоши или обрезанные катанки. Их-то и взяла с собой Дуняша, сказавшись, что идёт к подруге.

Но на дворе случилась заминка. К избе шёл Митьша с туесом в руках. Деваться было некуда, и Дуняша пошла ему навстречу, глядя прямо перед собой. Не доходя, Митьша остановился и протянул туес.

— Вот, возьми, Дуняша. А то так спешила с игрищ, что не захватила с собой. Спасибо тебе за помощь.

Митьша говорил, не опуская глаз, и насмешки в них не было. Наоборот, Дуняша явственно почувствовала грусть и ожидание.

— Хорошо у вас получилось, — заговорила ласково девушка. — Мне понравилось. Теперь к нам в деревню на святки со всех сторон съезжаться будут, чтобы только на вас посмотреть. Я не поняла, как это ты огнём плевался?

— Да в том секрета нет, Дуняша. Я керосину за щеку набрал да брызнул на огонек. Вот и вся недолга.

— А хорошо получилось. Жаль только, кобель на тебя кинулся. Так и не довелось кваску нашего отпробовать. А то, может, вынести сейчас?

— Да нет, не надо, Дуняша. Ты мне скажи лучше... — и тут Митьша споткнулся и замолчал.

Дуняша поняла, что сейчас произойдёт что-то важное и подбодрила Митьшу взглядом. Мол, давай, парень, не журишь, смелее будь.

— Ты вот что, Дуняша, — снова начал Митьша. — Скажи мне... Когда сватов засылать?

Выпалив последние слова, Митьша вздохнул с облегчением, будто самое важное в жизни уже свершилось. Дуняша растерялась. Ей казалось непонятным, как, отчего задуманное сбывается само собой, без всякого чужого вмешательства. Она совсем было ответила согласием, но вспомнила вдруг Митьшины влажные пальцы, дрожащие от нетерпения, хватающие её плоть уже по-хозяйски, и неожиданно даже для себя резко сказала: «Никогда!» Митьша опешил от удивления, но продолжать разговор не стал. Обида и изумление так ударили по сердцу, что слёзы сами собой потекли по щекам. Он сунул туес с вырезанными листиками и веточками Дуняше прямо в руки и побежал, не оглядываясь.

Дуняша и сама чуть не прослезилась — остановили её лапотки, висевшие через плечо. Задуманное ещё не было выполнено, и будущее давало возможность исправить все ошибки. Вот и ворота. Дуняша развязала лапотки и выбрала правый, чтобы он показал, откуда приедут сваты в их дом. Она надела его, не завязывая, и мотнула ногой так, что лапоток перелетел за ворота. Голова гудела после ночного приключения, и Дуняша даже не услышала, как лапоток упал в снег. Дальше она не знала, что делать, и решила выждать какое-то время, чтобы не испортить суетностью важное дело.

Переждав, она вышла за ворота и... не увидела своего лапотка. По её разумению, он должен был лежать совсем рядом, на плотно убитой дороге, пересекающей деревню надвое. По ней ходили обозы куда-то на север, прогоняли колонны арестантов хмурые конвоиры в серых шинелях. Дорога замирала только зимой, и бывали даже недели, когда по ней не проезжал никто чужой. Только редкие санки местных уходили в лес за припрятанными лесинами или на луга за хранившимся под снегом сеном. Дуняша со всем тщанием осмотрелась вокруг дороги. Но свежий, выпавший ночью снежок, не прятал следы, но и не показывал. Он был чист и нетронут. Думая пройти дальше, Дуняша по пояс увязла в придорожном сугробе и едва выбра-

лась. Лапоток исчез, будто и не было его.

В доме ждала весть ещё страшнее. Посмурневший дед Василий стоял над голбцем с красным колпачком в руках. Сердце Дуняши дрогнуло, и она без сил опустилась на лавку. Явно что-то плохое случилось с Иваном Кузьмичом. Никогда не терял он до этого свой колпак и без нужды не обнажал седую голову. Дед, не глядя на Дуняшу, заговорил глухо и страшно:

— Беда у нас, внученька. Неладно что-то с Иваном Кузьмичом. Полез вот за купусткой в голбец, а там на кадке колпак его лежит. Он же его никогда не бросал. Тогда я ему угощение спроворил, спустил. Посмотри иди — нетронутое стоит.

— Как же это, деда? Как же это, матушка? — прошептала Дуняша, отчётливо понимая, что есть в этом и её вина.

— Да так, доченька, — заговорила матушка. — Мне ещё бабка твоя сказывала, что к худу такое. Либо ушёл вовсе от нас за какую-то провинность, либо ещё того хуже — помер.

— Помер, видно, — сказала Дуняша звенящим шепотом и разрыдалась. Не сдержалась она и рассказала всё, что было с ней за два этих страшных дня. Деда и матушка утешали, как могли, отпаивали водой. Деда гладил широкой своей ладонью выбившиеся из-под съехавшего на сторону платка волосы, ласково приговаривал в самое ухо. Сомнений почти не было — Иван Кузьмич не выдержал драки с молодым нахальным гостем и закончил свой путь в их избе.

* * *

Прошло время. Минула ранняя и быстрая весна, сменилась обильным дождями летом. Урожай был собран, и люди вновь радовались, что должно хватить его не только на собственный прокорм, но и на худенькую торговлю. В доме, где верховодил дед Василий, тоже был достаток, хотя пришлось обращаться и за помощью — троим трудно было управиться со всей работой. Ещё и корова отелилась, всласть нагулявшись в стаде. И тоже удачно — принесла двойню, что случается совсем уж редко. Одна была незадача. Выпало две недели в самой середине лета, когда солнце палило нещадно и иссушило, видно, все постройки в деревне. Тогда-то и оплошал дед Василий в самом любимом своём деле. Взявшись топить баньку, сделал он это слишком рано, чуть не в полдень, и проследить было некому. От случайной искры ли, от какой ли другой причины, но банька вспыхнула дружно, как горит стог пересушенного сена от удара громовой стрелы. Баньку спасти не удалось, и дед Василий разворошил пепелище, выбрав только скобы, петли, покореженные страшным жаром. Он отбил их на наковаленке и отложил до осени, чтобы срубить новую баньку, ещё лучше прежней.

Иван Кузьмич в избе больше не появлялся. Но странно, что предупредил семью о начавшемся отёле странный писклявый голосок, кричавший без слов. И когда прибежали они на двор, оказалось, что корова стоит спокойно, будто кто-то приласкал её, нашеп-

тал хорошие слова в самое ушко. И ещё стала замечать Дарья, что прялка, оставленная на ночь в одном месте, перебирается к утру в другое. И однажды решила укараулить ночную пряху, мусолившую куделю так, что приходилось её замачивать и сушить наново. Ждать пришлось недолго — сразу за полночь появился в уголке у печки синенький огонёчек, приблизился, дрожа, к прялке, и Дарья увидела маленькую бабёнку в платочке, повязанном по-кержацки. Она хозяйски осмотрела прялку и пристроилась работать. Потом появились ещё три огонька, и к бабёнке присоединился мужичок с редкой бородёнкой и пара смешных и неуклюжих мальцов, совсем крошечных. Мужичонка починял лапоть — ковырял его кадочигом, а мальцы игрались клубками шерсти, выкатившимися из дарьиного короба для рукоделия.

Дарья решила их не беспокоить, порадовавшись, что у избы появились новые дружные хозяева. И тогда поутру они с дедом Василием решили проверить — не причудилось ли ей, не наводит ли морок враг рода человеческого. Они спустили в голбец угощение на четверых, и были очень рады, что оно пришлось по вкусу. С той поры и повелось, что мальчикам нового домового подносили сладкие паренки из репы, самому — ржаной хлебец, а домовихе — мисочку похлёбки. И все бывали довольны, хотя Дуняша до слёз жалела пропавшего Ивана Кузьмича. А он перестал являться даже во сне, после пожара в баньке ни разу больше она не видала и мужика с перепончатыми лапами, так напугавшего её в святочную ночь.

Митьша уже на Пасху высватал за себя Дуняшину подружку, и Дуняша даже не загоревала. Ей было почему-то безразлично, кого возьмёт её бывший избранник. Ведь миновавшие святки определённо показали, что в этом году Дуняше сватов не дождаться, а знающие опытные девки сказывали, что, может, никогда их уже не будет. Но матушка только посмеялась над ними и дала совет подождать ещё: парней было немало, и остаться в старых девках в деревне было немыслимо для пригожей, налившейся, как яблочко, дочери.

Дарья оказалась права. В том, что дочь скоро просватают, она была уверена и потихонечку обучала её поведению в невестах: как говорить со сватами, как плакать, как заканчивать приданое с подружками. И оказалось это очень впору. На самый Покров в избе появились сваты. Дуняша спряталась от двух бородатых мужиков за печку и силилась услышать, за кого же её высватывают. Жених оказался из соседней деревни. Звали его Фёдором, и был он по-русски прочен и надёжен. Конечно, не едва оперившийся юнец, пускающий ещё слюни, а степенный солидный мужик. Да вдобавок ещё и не вдовец — просто засиделся в холостежи из-за ранней смерти отца. Пока заменял его за старшего, было не до девок. А потом одногодки повыходили за друзей, так и припоздал до двадцати с гаком. Дуняша не знала, что и сказать: жениха она видела только два-три раза, когда приезжал он в их деревню на престольные праздники. Да раз прошлись они в кадрили, когда Дуняша выезжала с дедом на торги.

И вдруг за печкой почудились ей новые домовые. Хозяин ходил вокруг жены вприсядку, а

она выкаблучивала, упершись рукой в бок и размахивая платочком над головой. Вокруг мельтешили по-смешному мальцы. Дуняша решила, что радуются они неспроста и поняла, что нужно соглашаться. Деда зашёл за печку и заговорил с ней ласково, как умел только он один.

— Ну, родная моя внученька. Время пришло упархивать тебе из гнезда. Век бы не отпускал от себя, да понимаю, что к старику не привяжешься. Тебе многое в жизни ещё сделать предстоит. Так что сама решай.

— Что решать-то, деда? Боюсь я.

— А ты не бойся. Фёдор — человек правильный, так о нём говорят. А то, что без жены заседелся, — в том его вины нет. Вона семья какая, он за старшего. Сейчас-то угланы поднялись — роздых ему хоть какой. Да и денегат подкопил. Ты, Дуняша, не сомневайся. Если люб он тебе, так скажи — с нашей стороны покору не будет. Если кого другого ждёшь — тоже понятное дело, тогда здесь откажем. Ну как, внученька?

— Ой, деда, страшно мне. Я и видала-то его только три раза.

— Нет в том беды, стерпится — слюбится.

— Согласна я, деда!

— Вот и славно, вот и хорошо. Пойду скажусь сватам, а то негоже так людей маять.

Свадьба пролетела быстро, даже не заметила Дуняша, как оказалась в чужом доме. На второй день свадебного пира положено было молодой потчевать гостей собственными блинками. Дуняше удалось они на славу — Дарья знала один секрет, делавший хорошо пропечённое тесто и хрустким, и полным одновременно. А первый блин, как и заведено, бросила Дуняша за печку — местному домовому. Вечером, когда гости унялись, она проверила — блинок был обкусан с самой серединки. «Слава те, Господи, — подумала молодая. — Принял, не оттолкнул моё подношение». И тут же она вспомнила Ивана Кузьмича и немного поплакала, хотя не положено плакать на второй день пира. Ну да Федор поймёт, простит. Он понятливый и добрый. И в первую ночь всё случилось так, как она вовсе и не ожидала — больно почти не было, а была одна ласка и нежность. Дуняша наслушалась от неудачливых баб многое о грубости нелюбимых мужей, об их постоянном желании причинить боль, обидеть, и ей было не по себе на широкой супружеской лежанке. Но происшедшее не только не было грубым, оно вселило новые силы, и Дуняша с Федором проговорили до самого утра. Сговорились они, когда подойдут младшие его братья, переехать к деду Василию и матушке, чтобы не остыло Дуняшино семейное гнездо. Федор сам предложил такое, и молодая сразу же согласилась.

Так ладом да добром жили они вместе. Дуняша почувствовала в себе новую жизнь и радостно томилась в ожидании того сладкого времени, когда младенчик начнёт биться под самым сердцем. Оно приближалось неспешно, растягивая минуты в часы, а часы в дни. Даже ночи стали казаться ей непомерно длинными, и Дуняша поднималась ни свет, ни заря, чтобы сварить всей семье. Свекровка была добра и приветлива. Она совсем не походила на «злую»

медведицу», как пелось в грустной девичьей песне о жизни в чужой семье. Дуняша расцветала с каждым днём, и Федор не мог нарадоваться на свою молодую жену. Однажды она не выдержала и решилась задать вопрос, мучивший ещё со сватовства.

— Родненький, Феденька, как же ты меня выбрал-то? Девочек-то и у вас в деревне полно. Да такие ладные: гладкие да бойкие.

Фёдор смутился. Видно, и ему самому не всё было ясно.

— Знаешь, зоренька моя, сам не могу тебе сказать. Видел-то я тебя пару раз, не больше, и едва запомнил. Ты ж тогда совсем девчужкой была. А тут слушок о тебе прошёл, что заневестилась, налилась. Вот я и подумал: ты — сирота, я — сирота. Так нам с тобой лучше понять друг друга будет. И про деда Василия только хорошее говорили, и про матушку твою. Так само собой и получилось. Пришли ко мне дружки раз вечером, посидели, потолковали, а наутро я их к вам и направил.

— Может, тебе кто подсказал, Феденька?

— Да нет. Сам не знаю, как так получилось.

Однажды свекровка попросила Дуняшу перебрать сундуки. Она любила это занятие ещё по дому. Как наступало тёплое время, выносили бабы свои богатства, чтобы проветрило их ласковым ветерком, сдуло пыль и скопившуюся затхлость. Считалось, что ничего не повредит лежащим чуть не веками сокровищам, переходящим от бабки к внучке. А здесь Дуняшу одолело ещё и любопытство: как живёт новая её семья, что скоплено предыдущими поколениями. И она с радостью взялась за любимую работу. Целое утро открывала она сундуки, вытаскивала на вольный воздух, разглаживала каждый шовчик, каждую складочку.

И, наконец, в последнем она обнаружила совершенно неожиданную находку. Откинув тяжёлую крышку, Дуняша увидела на самом дне одинокий лапоть. Больше в сундуке ничего не было. Лапоть был выплетен на косую колодку из мелкого лыка. Опушка выделана из красной тряпицы, а шнурки заплетены причудливым узором. Это был Дуняшин лапоток, подаренный когда-то Иваном Кузьмичем. Она позвала мужа и прерывистым от волнения голосом поинтересовалась находкой.

— Это-то? — переспросил Федор. — Это, Дуняша, сам не знаю откуда взялся. Прошлым годом я аккурат на святках, чуть не в последний

день, может, уже и на Крещение, ездил рыбу торговать. Нам тогда улов привалил хороший – вот часть наморозили да решил свозить. Обратного ехал налегке – всё распродал, короб пустой и был. Точно пустой, сам проверял. А как до дома доехал, гляжу – лапоть. И откуда от взялся, ума не приложу.

– А что ж ты его сохранил? Чего не выбросил? Он же без пары.

– Да не знаю. Чудной лапоток – у нас такие не выплывают.

– Слушай-ка, Фёдор. А как же ты ехал?

– Известно как: по тракту. Дорога-то по зиме одна.

– И через нашу деревню проезжал?

– А как же. Даже мимо вашей избы. Я ж тогда не знал ещё, что тебя высватаю. А так бы обязательно завернул погостить.

Дуняша всё поняла, но смолчала об этом. Не ровен час, не по нраву придётся Фёдору эта историйка, как говаривает деда – «сказенёк». Только лапоток она сохранила и наказывала внукам и правнукам хранить его пуще всего. А Ивану Кузьмичу она ещё раз спасибо сказала и поплакала об его кончине.

СМЕРТЬ ФЕДЮНИ

Старик Федюня проснулся в тот день очень рано. Так рано, что даже ему, привычному к утреннему солнцу, в диковинку показался невероятно чистый, колеблющийся маревом воздух. Стариковские дела вовсе не требовали подниматься с лежанки, топить печь и варить пищу. Он давно уже не тратил сил на вариво, и печь в почерневшей от времени, но ещё крепкой избе, стыла. Живность Федюня тоже не держал, а на усадьбе зеленела одна только сиротская гряда лука. Лук уже пустил стрелки и был горек, как выпекаемый в голодный год хлеб из жмыха с лебедой пополам. Не было никаких дел у Федюни, и поднялся он ни свет, ни заря вовсе напрасно.

С божницы строго взирал на него хмурый святой, будто поминал, какие дела случались в пространстве дома, от стены до стены, от мужицкой до бабьей лавки. Укоризненно поглядывала на стариковские немочи косившая Богородица. Сколько помнил себя в этом доме Федюня, она всегда была такая — со скошенными к носу немного блудливыми глазами. Знать, дрогнула рука у молоденького богомаза или отозвались вечерние возлияния во славу Господа молчаливого монаха с сединой в редкой бородёнке — зря возводили напраслину соседи, ни при чём тут оказался тяжёлый нехороший хозяйкин глаз, от которого, как считали сельчане, и окривела Матерь Божья. Не ведома истинная причина этого печального факта, но не она ли изогнула тонкие губы святого Николая и проборошила его лоб глубокими морщинами? Как знать... А Богоматерь странно как-то прижимала к себе младенца со старческой складкой у рта, словно веки вечные должна сохранять новорождённого Христа от немилосердных иродовых воинов. От их кривых ножей, острых пик и узловатых, поросших густым волосом рук. Сотни лет минули с той поры, ушли в нежить служилые подневольные люди с тяжёлыми каменными челюстями, а она всё сжимает драгоценный свёрточек, укрывает его от лиха, напасти и злого человека. И не стареет, хотя давно уже сгнили в земле и рассыпались в прах кости её мучителей; а в том месте поднялись тучные нивы, выгорели дотла, снова пустили побеги и накормили того, кто пришёл много позже.

Старик пошарил в печурках, надеясь отыскать затерявшуюся ещё на прошлой неделе пачку «Беломора», но папиросы так и не дались в руки, посмеиваясь, видно, потихоньку над его бестолочью. Тогда Федюня решился на дурное. Не так чтобы совсем запретное, но вовсе даже не обязательное. Он старательно замёл пыль и натрусившиеся откуда-то крупинки махры из-под самого порога. То же сделал он под окном, смёл с подоконника лёгким крылышком, которым старуха мазала в далёкой жизни сковороды, и набрал изрядную горсть. Видно, не случайно попал табак в эти места — сыпала его для своих целей человеческая рука. А, может, и не она, а

страшная, с перепончатыми пальцами и острыми когтями, заточенными до крайности, чтобы удобнее вонзать в живое трепещущее мясо и вынимать алое сердце из груди.

Заструился было синеватый дымок под потолком, однако быстро развеялся в избе — не выдержав тяжёлого взгляда, ушёл на двор старый курильщик. Ведь курение табака уж никак не приветствовал тот, пострадавший сверх меры за грехи человеческие, которого так судорожно опекала сейчас его мать. Но и на дворе показалось трудно — странно и страшно — запустение и тлен заволокли надворные постройки, где размещались когда-то исправно служившие человеку орудия крестьянского труда; перекосило дверь на конюшню, и видно было, как мучительно давно не заполняется навозной жижей щель между плахами пола и землёю. От ног его поднялась и повисла в воздухе серая пыль. Федюня не вынес картины разорения и подался на солнце, обещающее задать земле жару к самому полдню. Только на лавке успокоил его дым с горчинкой от подпорожной пыли, но он же, свиваясь в причудливые картинки, странные в их подвижности, напомнил то страшное, что нужно бы забыть. Забыть, но каждая мелочь, попадая на глаза, напоминает и требует точного и скорого ответа. Долг перед мёртвыми важнее долгов денежных перед живыми сейчас. Или нет? Правда ли то, о чём шепчут вокруг, можно ли свершить это с маху, без раздумий и тихих слёз? Чтобы не каяться потом всю оставшуюся недолгую жизнь.

Он вернулся в избу, посмотрел на тикающий, как надоедливое насекомое, будильник. Часы отмеряли текущее вяло время и показывали, что вспыхнули уже в печах пересохшие от зноя дрова и будут скоро на загнётке угли, и будет день, и будет пища людская на столах, отскобленных до белизны острым ножиком. И будут жующие уста; масло, стекающее по подбородку; деревянный перестук ложек. Всё это будет, и будет скоро. Значит, заварят крутую кутью в избе на дальнем конце, зазвучат последние прощальные молитвы — всхлипы и стоны, посланные немилосердному Богу, отнимающему самое дорогое, что только есть на земле для нас, грешных.

Федюня вытащил из-под пёстрой подушки ситцевый платочек с каёмкой и аккуратно разгладил его на колене. За ним приходила старуха и молча просила в дверях. Дальше не шла, так и стояла, сцепив под подбородком нелепо торчащие из широких рукавов коричневые тощие руки со сморщенной кожей. Старик пытался заговорить с ней, видной только от бровей до колен, но она молчала. И эти вопрошающие руки, измученные тяжкой работой, требовали и звали, молили и упрекали так, что, казалось, — вот-вот стиснет ледяным алое сердце, закатится оно, захлебнётся кровью и не застучит больше. Но будильник продолжал противно тикать, отмеряя оставшиеся отрезки жизни, и мешал размышлять о том, что будет потом, после. Зачем он, нелепый и страшный, когда мёртвые приходят к живым и требуют вернуть долг? Рука привычно тревожила пружину, и он продолжал свой бессмысленный путь от одного деления к другому: всё по кругу и по кругу, будто бы и нету вовсе прямых путей, и всё возвращается к одной точке, чтобы вновь от неё уйти. Страшно.

И ничего не было. Была только согбенная фигурка в дверном пространстве, застывшая в отвергнутой пасти. И был табак, насыпанный в полдень под порог, на подоконники. Лишь бы отогнать видение, рассеять туман, сгустившийся полночью перед глазами. Старуха настойчиво появлялась, аккуратно обходя все запоры и замки, и молча требовала платок, любимый ею при жизни, и забытый впопыхах, когда пихали её в гроб, наспех заколачивали и везли, чуть не галопом, на старое кладбище. Быстро, потому что ворчал по деревне народ, кучкуясь то у одной, то у другой широкой лавки. И укоризненно поглядывали на тяжёлый сосновый крест, срубленный Федюней для жены, бабы. Не могли простить свернувшуюся кольцом и снова распрямившуюся над их трубой огневую змейку, замеченную одной крещенской ночью. Скрипели зубами, вспоминая загубленных младенцев, виновных только в том, что появились они на свет, вспоминали и не родившихся. Каждая короста, каждая болячка, посаженная злой рукой, пропавшее молоко у скотины — всё списывалось на неё. Невинную? Не судья им старик Федюня. Много пережили люди на своей жизни, и невдомёк им, страдавшим, — как и почему легко жилось под покатою крышей. Да и легко ли? Не судья он и своей Татьяне, взявшей его в этот благополучный и обильный дом. Однако и ответить надо старухе — всего лишь день остался до самых её сорочин. Потом будет поздно. И не уйдёт она, страшная, вон из двери, и закрыты ей будут все пути-дорожки, набитые тьмой прошедших поколений. Но помочь — некому... Постаревший сын, приёмш из военных сирот, наскоро глотнул привезённую им же водку из щербатой кружки и покинул одинокие поминки, ушёл к своим чертежам и шуршащим пинам. Может, и к лучшему. Не надо говорить, приставлять слова к словам, рассыпающимся при первой же повисшей паузе, не надо хлопотать о ночлеге и пище получше — для гостей — многое чего не надо. Одно лишь пламенеет и царапает душу — забытый платок.

Будильник показал, что кутья уже готова и скоро заголосят, завоют по чину над молодой покойницей в избе на дальнем конце, проклянут в последний раз рухнувшую не ко времени лесину и забудутся, если повезёт, в горе. Нужно поднимать себя со скамьи, передвигать разбитые годами ноги и говорить слова, чтобы поняли, простили, если смогут, и не отказали в пустячной просьбе. Платок с каёмкой, почти невесомый, никто и не заметит его воздушной тяжести в обтянутом по новому обряду гробу. А покойнице безразлично, не чувствует, не ощущает она несправедливости бытия, когда живым сегодня надо платить долги живым вчера. И уйдёт старуха из дверного пространства, покинет навсегда дом под покатою крышей. Может, и распрямятся тогда морщины и веселее глянут скошенные глаза. Надо идти.

Федюню никто не ждал. Невдомёк было сидящим у пахнущего лесом гроба, что придёт он. Не ждали старика, хотя втайне и надеялись увидеть — убедиться в его неодолимой вине, не прощаемой никогда. И знал об этом Федюня, ждал с душевным трепетом, как встретят его появление, какими словами проклянут. Не чувствовал он за собой ничего такого, что преградило бы путь к последнему, может быть, благому делу. Потому и пошёл неверной стариковской походкой.

Солнце уже начало свой дневной ход и не щадило ни придорожные травы, ни куриц, купающихся в пыли, ни отяжелевших собак. Не было пощады, да и не жди её от осерчавшего светила, наметившего на земле свою полуденную жертву. Кто падёт в этот зной от прямых острых лучей, вызывающих неясную блазнь и вспыхивающие огонёчки между глазными яблоками и уставшими веками? Кому предстоит корчиться на высохшей траве, нелепо загребая вытянувшимися ногами былинки пополам с серой землёю? Солнце зло мстит за свои поруганные и позабытые изображения – за короткую человеческую память, ещё короче, чем недлинный путь человека от первых до последних лучей. Господи, прости все наши прегрешения! Спаси нас и помилуй, Господи! Отведи злой зной и жестокий град от наших посевов! Дай пчёлам нашим ярым роиться и множиться тебе на жертву, а нам на пропитание! Пусть звери твои лесные толкутся в мои ловушки-поставушки, а невод трещит не от тупых топляков, а от тучных рыб и чудищ морских и речных! Пусть тяжёлой будет лоза картвела и сочна винная ягода! Пусть родится жито и несутся птицы! Будь же ты, Господи, с человеци веки вечные, не покидай во власть сатанинскую! Бди! Помни! Да не забудем мы тебя в юдоли печали и скверне житейской!

Путь не был долог, как не длинной была улица, по которой шагал он. Крепкое крыльцо, распахнутая дверь, гудящие в сенях мухи и сладкий запах в избе. Зачем закрывают тряпкой зеркала в доме, где несчастье? Чтоб не отверзлись мёртвые очи, мелькнув в пространстве между рамками? Чтоб не запомнилась последняя дорога? Чтоб не увидеть свои искажённые лица? Зачем? И часы – они не шли, а били, отмеряя путь от одной чёрточки до другой. Впрочем, и видно-то их не было. Были они прикрыты обрывком тюлевой занавеси, чтоб не смутить стеклянным бликом провожатых, чтоб не мелькнула, не дай Бог, домовина, обтянутая по новому обряду.

И встал молчаливый Федюня в дверном пространстве, замер, сцепив руки с платочком под подбородком. И только поняв, что встал он не там, что оторопь взяла сидящих у гроба, сошёл с порога, молча же протягивая платок. Пауза затянулась, и старик решил.

– Мир вам, люди. Возьмите, вот... Платочек. Забыл я, виноват. Не простится там. Пусть уж Валенька старухе моей передаст.

Молчанием был ответ. Только сдвинулись брови и исказило немым рыданием рты. Шорохом прошло по избе: «Проклятый...» И молодой, с сильными руками, тычками выставил Федюню в сени. Несло от него вчерашней брагой и сытным запахом протёртого с солью и снятой сметаной лука.

– Ты-ы... Гад... Совсем из ума выжил, старик! Нет нам до твоих забот дела. Проваливай, пока не унесли! Сволочь!

– Пошто сволочишь меня, парень? В чём виновен я?

– Будто не знаешь, кикимор болотный! Старуха твоя блядская! У неё спроси на том свете. Тебе уж недолго осталось. А то, гляди, и я помогу. Ускорю, так сказать, встречу.

— Померла уж Татьяна, знаешь ведь. Вот платочек забыл в гроб сложить. Может, с вашей передать? Просит ведь она, покою не дает ночами. Будьте милостивы, сжальтесь над стариком.

— Померла, говоришь? Туда и дорога. А Валюху, Валюху-то кто под лесину подвёл? Не она ли, ведьма старая? Валентина всё перед смертью рассказала. И как в лесу блудила. И как Татьяна её не пускала. И как шурнула её под ёлку эту проклятушую. Проваливай, проваливай! А то возьму грех на душу!

— Да как же это, милый? Уважьте старика, а то худо мне будет, ой, как худо.

— Мне ли тебя учить, старый? Сам, поди знаешь, что от тебя люди ждут. Вот скажи мне, долго твоя Татьяна ещё пакостить будет? И при жизни-то от неё столько бед было. Или забыл? Или не знаешь, к кому змей летал?

— Что ж мне, так и сотворить, как требуется? Грех ведь на душу. Сам посуди.

— Нет в том греха. А платочек, и его заодно сложишь, куда следует. Людям спасение будет и тебе. Иди, старик, не буди во мне злое.

И было так. Пошёл Федюня той же дорогой, мимо собак и куриц, мимо прямых острых лучей. Шёл и думал, как несправедливо всё кругом, муторно и похабно. То, что должен свершить, жгло душу и тревожило руки. Много работы переделали они на своём веку, а к такой подступаться было впервые, потому и сотрясала их пульсирующая дрожь, будто немощные они совсем, и даже малый толчок крови заставляет делать судорожные движения. Так и шёл Федюня, прислушиваясь к своим ладоням, набухающим в ожидании работы и мозолей, успевших сойти за последние бесцельные десятки и сотни дней. Улица молчала в напряжённом ожидании. И казалось старику, что за каждым окном, за каждой дверью считают и пересчитывают медлительные шаги, ведущие прямо к дому, к топору и осине, а затем дальше — на старый могильник, где предстояло совершить страшное.

Точильный круг, налаженный ещё в те времена, когда много было по осени работы для острых ножей, покосился и ходил со скрипом. Федюня отлил из лампадки масла, сохранившегося там Божьим промыслом, смазал где надо, и круг пошёл весело и быстро. Не истлела ещё ремённая петля, связавшая части этого древнего механизма, а руки вспомнили частую когда-то работу. Всего на несколько отрезков времени забылся старик и работал с удовольствием, извергая своими движениями жёлтые искры с поверхности металла. На славу оказался заточен топор, годился он теперь на любое дерево, даже и на вязкую осину. Где там устоять против его блестящего лезвия без зазубрин и выбоин! И только проверив остроту жёлтым ногтем, захавшим уже на самую мякоть пальца, вспомнил Федюня, для какого дела нужно это резкое лезвие, способное рассечь всё, что попадёт под него. Вспомнил он и другое, случившееся с ним под этой покатою крышей и под другими крышами других домов и пространств, где жили и творили свои дела люди.

Да, топор оказался заточен на славу, и Федюня представил, как сочно он войдёт в мягкую древесину, как полетят, разбрызгивая пену, свежие щепки, как качнётся гладкий ствол и упадёт

с гулким стуком на землю. Оставалось только найти самое подходящее, самое годное в дело дерево. Он выбирал и выбрал ту самую осину, ходившую ходуном без всякой видимой причины и остановившую свою дрожь каких-нибудь сорок дней назад. Ствол её был прям и ровен, как прямые и ровные были сучья, выпущенные чуть выше того места, до которого может дотянуться человеческая рука. Сук нужен был один, но Федюня решил лишить жизни всё дерево. Слишком многое казалось связанным в его судьбе с ним, слишком много упрёков доставалось людям из дома под покатой крышей из-за этой проклятой осины.

А ещё нужен был ладный заступ для свершения страшного, и Федюня нашёл его на конюшне, покрытый пылью и засиженный ещё в далёкой жизни самыми дурными птицами на свете. Когда-то курицы в обилии мельтешили на дворе, бойко перелетая с места на место от одного пугающего стука; выбирали уголок поукромнее, чтобы подарить миру ещё одну бестолковую жизнь, скрытую до поры под хрупкой шершавой оболочкой. А человек катал её в тёплых ладонях и брал из скорлупы живительную для себя силу, убивая, убивая и убивая бесчисленные мириады грядущих куриных поколений. И даже Великий Пост не давал передышки, и мало чем отличался он от обильной пьяной Масленицы, когда горело и шипело на круглых раскалённых сковородах коровье масло, требуя всё новые и новые жертвы. И человек приносил эти жертвы, ничем не рискуя, и это было страшно и противоестественно: узаконенное людским обычаем убийство невинных бестолковых существ. Мир их праху!

Федюня снова держал свой путь через раскалённый полдень, подставляя под острые прямые лучи жидкую шевелюру с просвечивающей розовой кожей. Он не замечал сердитое светило, проводя себя в прохладе воспоминаний, остужающих разгорячённый мозг. И за каждым окном, за каждой, дверью знали, куда несёт старик своё дряхлеющее тело, какую работу ожидают его вздрагивающие даже для стороннего наблюдателя руки. И в каждом доме вздохнули с облегчением, истово веря, что свершится, наконец, избавление — отойдёт от человека страх и беспомощность перед злым. Разом стихли жалящие шёпотки, засквозило в голосе сочувствие и даже жалость. Ведь, в сущности, чем провинился этот беспомощный старик? Не его рук злые дела, творившиеся под покатой крышей. Но его грех, его — то, что молчал и молча же сносил унижения и не строил преград перед ледяным прикосновением. А от него не помогали ни начертанные мелом на окнах и дверях косые кресты, ни иголки, натканные кверху жалом по всей одежде, ни наспех прочитанные молитвы. Намеченное всем миром не должно, не может не помочь, иначе грош цена людским страданиям и мукам, принятым ради живших когда-то и живущих сейчас. Одна надежда осталась у нас, Господи! На одного уповаем и в одного веруем! Помогите ему развязать стянутые жестокой рукой путы и облегчить страдания! Пусть сбудется всё задуманное и определённое! Пусть!

Вот и она, пугавшая людей и скотину, та, которую обходил ветер и миновала громовая стрела, опалив только вершинку. Федюня аккуратно уложил на землю заступ, примерился, по-

плевал по старой привычке на руки и отколол первую щепку, ещё раз удивившись отменно сработанному топору. Тот ходил легко и весело, стосковавшись в безвременьи по работе. И опять удовольствие от труда отодвинуло от Федюни сегодняшний страшный день куда-то далеко, на самый краешек стариковского сознания. В радостном забытьё представил он себя за привычным делом, которым славился на всю округу. Среди охотников и рыбаков престижным считалось выходить на промысел в Федюниной лодке-осиновке, которые ладил он всю жизнь, вызнав секреты ремесла от недолго жившего отца. Вот и сейчас намечал он последующие этапы нелёгкого и небыстрого дела, посетовав, что и яма ещё не готова, не налажены толстенькие короткие чурки для медленного огня, на котором должен выпариваться долблённый ствол. Силился вспомнить Федюню, куда подевались бурав и другие мелочи, пригодные для рождения лодки — юркой, но валкой на ходу, с разведёнными низенькими бортами. И до боли захотелось ему вновь очутиться на носу собственной осиновки, сжимая внимательную и чуткую острогу. И чтобы свет обливал со смолистого факела прозрачную до дна воду, чтобы мелькали ленивые тени в светлом пятне на тёмной ночной реке. Он любил лучить рыбу, и поэтому единственное развлечение на Святках, которое выпорил Федюня себе ещё в молодости, был весёлый, как казалось, обряд. На носу украшенной венниками и ленточками лодки полыхал факел, а Федюня, как горделивый бог воды и влаги, властитель рыб и донных жителей, стоял со своей острогой рядом и бил воображаемую рыбу. Смешно шевелились уши запряженной в лодку кобылы, скребло по смёрзшимся катышкам снега днище, а кругом скалились пьяные лица. Считалось, что река, которую к тому же по весне одаривали монетами и хлебушком, воздаст за это богатым рыбным припасом.

Очень любил он последнюю агонию засыпающей рыбы, собственную бьющую силу, впивающую в холодное упругое тело зазубрины остроги. Но к чему это? Не поднимется боле рука, чтобы разбить водную гладь, не метнётся в последнем усилии могучий хвост. И никогда уж больше не запахнет в доме особым запахом уходящей из увядающего тела речной влаги. Да и не лодка нужна ему сейчас, а простой незатейливый кол из осины, заточенный резким лезвием топора и приготовленный тем самым к страшному последнему делу. Федюня остановился, отёр рукавом пот и задумался. Ему опять вспомнился платочек с каймой и будильник, отмеряющий последние отрезки времени. Их оставалось совсем немного, самая малость, чтобы успеть. И он заспешил, выбрав не самый лучший сук с трепещущими ещё листками. Те быстро опали под осторожными прикосновениями лезвия и замерли наконец на серой земле. Закрасневшаяся обнажённая древесина была даже на вид прохладной и остро пахла. Старик тюкнул ещё несколько раз и отбросил за ненадобностью топор. Всё. Готово.

И тут ему неистово захотелось курить, а табак остался там, на припечной доске, ссыпанный торопливой рукой. Старик пожевал травинку, но это не перебило желания обжечь лёгкие и успокоить душу. Хочешь — не хочешь, а нужно идти, перемещать своё тело по раскалённому пространству деревни. Нужно ловить укоризненные и ненавидящие взгляды, молчаливо оправ-

дывать каждый лишний шаг в этот важный для всех день. Ведь не пойдёшь же в каждую избу объяснить, что не раздумал, что подвела опять стариковская память, а без табаку, ой как нелегко. И когда молодой с сильными руками выбежал навстречу, Федюня молча развёл руками, успокоил ими, как мог, прошёл дальше, провожаемый встревоженным взглядом.

Старик пускал дым, вновь удивляясь, что от самокрутки он идёт гуще, чем пропущенный через лёгкие — полупрозрачный и светлый ложится слоистыми пластами в воздухе, почти и не рассеиваясь. Оставалось самое страшное, и Федюня решил не тянуть до полночи. В который уже раз прошёл он через частокол острых лучей и взглядов, направляясь к старому могильнику...

Молодую покойницу свезли на новое кладбище. Старое, зажатое с трёх сторон елями с толстыми стволами и с северной — трактом, уже не могло принять ни одного могильного холмика. Хорошее досталось Валентине место — сухое и приподнятое над заранее нарезанной на участки ложбинкой. Помянули её и на могилке, и в доме. Ночь не спали, колготаясь на улице и задыхаясь от не ко времени нахлынувшего пьяного угарного веселья. Было оно внезапно оборвано, когда молодой с сильными руками нашёл под крыльцом изодранный ситцевый платочек с каймой. И тут только догадались, что не видел никто Федюню, уходящего после свершения страшного в опустевший дом под покатой крышей. Послали на старый могильник парнишку. Тот вернулся быстро и никак не мог рассказать, что увидел на древнем погосте с покосившимися крестами — крупная дрожь сотрясала маломощное пока тельце. Пошли взрослые, прихватив для смелости — кто топор, кто берданку, а кто и икону с божницы.

То, что увидели, поразило своей странностью и жутью. Могила у жёлтого соснового креста, пустившего смолистые слёзы, была разрыта. В раскрытом гробу, усмехаясь оскаленными зубами, лежала Татьяна. Только руки её, тощие, со сморщенной коричневой кожей, не покоились мирно на груди, а были скрючены. Федюня прислонился сзади к кресту. Казалось, что притомилось его стариковское тело от непосильной работы, обмякло и осело под тяжестью склонённой головы. Справа в груди зияла открытая рваная рана. Кол валялся, отброшенный в сторону. Что случилось на кладбище в полночный час, не заинтересовало даже самых любопытных. Могилу засыпали, подбодривши себя пьяной влагой, три мужика, так и забыв сделать то, на что толкали старика. И кол оказался ненужным, и платок забыт.

Федюню зарыли рядом с Валентиной на следующий день. А ночью под окнами дома на дальнем конце увидели две стариковские фигуры. Ни табак, насыпанный у дверей и окон, ни косые меловые кресты, ни наспех прочитанные молитвы не помогли.

Краткий словарь диалектических и устаревших слов

Бадог – палка, посох.

Бахилы – самодельная кожаная обувь с голенищем.

Блазнить – казаться, чудиться.

Большак – основная дорога.

Вержить – казаться, чудиться.

Верхи – верховье реки; выше по течению реки.

Визирка – просека.

Выблядок (руг.) – незаконнорождённый.

Голбец – подпол, подвал.

Губы – грибы.

Длани – руки.

Загнёток – ямка в печи, куда сгребают жар.

Запон – фартук.

Казёнка – водка.

Калёная – горячая, нагретая.

Каменка – банная печь, сложенная из дикого камня.

Косари? – ножи с длинными лезвиями.

Кошёнок – котёнок.

Легченые быки – кастрированные быки.

Медуницы – пчёлы.

Несметура – чушь, ерунда.

Огарок, огарыш – место лесного пожара; пожарище.

Онуча – портянка, на которую надевали лапти.

Пестерь – плетёный заплечный короб.

Печиво – печёное изделие из теста.

Подтёлки – годовалые телята.

Позвонки? – колокольчики.

Пониток – одежда.

Порозы – быки-производители.

Рухлядь – что-то мягкое.

Сочнять репу – мелко строгать ножом для еды.

Черномазия – искажённое Чёрная Магия, магическая книга колдунов.

Шуликины – черти; ряженые в чертей

Василий Тихов

Страшные сказки,

рассказанные дедом Егором,
крестьянином бывшего Чердынского уезда
Пермской губернии

Художник Ж. Заграбова

Подписано в печать 20.08.2012 г. Формат 70х90 1/12.
Бумага офсетная, 90 г/м². Печать офсетная.
Гарнитура «NewBaskerville». Усл. печ. листов 10,3. Тираж 1000. Заказ №4137.
Отпечатано: .

